

Евгений Сафронов

*Жонглер  
и другие рассказы*



рисунок Татьяны Полововой



«Именно этот момент – когда в глазах дяди Толи светилось настоящее счастье – навсегда врезался в память Большакова.

Он понял, что центр для сюжета Фильма найден...»

(из рассказа «Визуальная антропология»)

**Евгений САФРОНОВ**

**ЖОНГЛЕР**

**И**

***ДРУГИЕ РАССКАЗЫ***

Ульяновск, 2011

ББК 84Р2-4

С 21

С 21 Сафронов Е.В. Жонглер и другие рассказы. Сборник. -  
Ульяновск, 2011. - 119 с., илл.

В авторской редакции

*Рисунки:* Петр Аверьянов, Татьяна Половова, Ольга Сафронова

Сборник философско-фантастических рассказов молодого ульяновского прозаика, основная тематика которых связана с поиском чудесного в обыденном. «Лирическим героем» сборника является личность, обладающая необычными, сверхъестественными способностями, - именно через образ «странного» человека автор пытается осмыслить вечные проблемы нашей повседневности.

*На обложке:* рисунок «Жонглер», автор: Юлия Рыбина, 7 лет, Областной специальный (коррекционный) детский дом г. Новосибирска.

© Сафронов Е.В., текст, 2011

© Аверьянов П., Половова Т., Сафронова О., рисунки, 2011

## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

Она нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь... Она – это первая книга рассказов ульяновского автора Евгения Сафронова. Неожиданная на фоне местного литературного процесса, словно из ниоткуда взявшаяся, увлекательная, нерядовая, качественно и профессионально сделанная. Вы скажете: а как может быть иначе, если автор – филолог-фольклорист, автор научных статей, журналист? Да, но – литературное творчество, художественная проза – несколько иное занятие. Скажем так: потребность написать рассказ, увидеть посредством его нечто достойное, жизненно ценное, донести все это до читателя – в данном случае главное. А уж фольклорный ли «уклон» у рассказа, мистический ли, злободневный ли – все это приятное масло, которым автор не только не портит, но и придает своей прозаической каше (в лучшем смысле этого слова) особый художественный вкус.

«Пока не понял сути, которая всегда проста, но не всегда очевидна, двигаться далее нельзя» - говорит герой одного из рассказов Евгения Сафронова. Именно так, как представляется, появляются произведения автора. Он понимает сначала суть того, о чем хочет написать, потом – облекает ее в текст, неторопливо, обстоятельно, опасаясь испортить первоначальный замысел. А в процессе текстотворчества еще и как бы мимоходом выдает афористические мудрости («Внутри была опустошенность, которую обычно испытываешь, когда цель достигнута»), иронизировать (ангел в одном рассказов называет себя «неплохим психологом» – каково?). А подчас автор позволяет себе стилистическое хулиганство, приятное и абсолютно простительное: «Затем я устроился в противоположный от уже занятых мест угол кафе, поставил чемодан под ноги и *вознамерился откушать*». Кроме прочего, к примеру, смело и ярко выглядит неологизм «многоангельно» – это про состояние неба...

Стоит отметить и еще одну важную особенность. В этом сборнике рассказов обыденное и необычное, иномирное настолько переплетены, что уже перестаешь понимать, после какого поворота фразы какие неожиданные горизонты откроются...

Да, казалось бы, все просто: пришел, увидел, написал. Не тут-то было: то тема слабая, то слова кочевряжатся, то с наскока избито выходит. А вот как это сделал Евгений Сафронов после своего долгого, вдумчивого «осадного сидения». Надеемся, не последнего.

**Андрей Цухлов, поэт, член Союза писателей России**

# Женрикаянный

– Ну, хотя бы вот этот: что, что в нем можно найти такого, чего нет в других? Такого, чтобы сразу захотелось наблюдать за ним, советовать, сниться ему, хранить его в конце концов! Ни-че-го. Ничегошеньки.

Инженер на заводе, по паспорту (аккуратный такой, в серой обложке, с идиотской фотографией, – как у всех) – Александр Петрович Сурнакин. Живет на Новосондецком, новый дом, шестой этаж, можно на лифте, как выходишь – направо. С мусоропроводом и со всеми удобствами. Живет там уже 15 лет и 4 месяца, вместе с женой и двумя детьми. Дети – сыновья – Владик и Володя. Тоже обычные, самые обычные – тузят друг друга, обзываются, мирятся. Случалось, ловил их на полноценной ненависти к друг другу. Жена – Васса Александровна (хоть имя немного выбивается из среднестатистического). Она, конечно, его любит. Но всё как-то уже с привычкой и с прохладцей. Иногда даже снятся сны эротического содержания с героем в главной роли, совсем Александра Петровича не напоминающего.

Ко всему названному имеется гараж с погребом. Туда Сурнакин ходит по выходным. Чего он там делает, никому в семье не интересно, даже ему самому.

Из интеллектуальных удовольствий: у него – телевизор и чертежи по работе, у неё... Ну, телевизор, конечно; пару раз заставлял ее в постели с каким-то низкопробным детективом.

Правда, вот Владик иногда радует сердце: у него при виде заката душа светлеть начинает, в ауре появляется золотистое свечение.

Мне один из наших на субботнем слёте, в смысле – Совете, сказал, что вырастет, возможно, из него художник средней руки. Я прямо-таки обиделся: почему сразу средней? Конечно, мы все видим, в основном, года на три вперёд, некоторые – на пять. Но ведь, когда часто наблюдаешь кого-то, можно и на обычную интуицию положиться. Я иногда во сне советую ему литературу посерьезнее: порекомендовал ему несколько немецких философских повестей, из современных. Почти заставил их мамашу Библию в картинках им подарить – авось, не зря...

Но опять – ведь тоска смертная! Другие мне на Совете говорят: вот, мол, повезло, куда хочешь, туда и лети, кого хочешь, того и наблюдай. Красота! Да в том-то и дело, что ничего хорошего. Они, остальные, хоть

знают: выпало им наблюдать конкретного человека, то уж никуда не денешься. А я – мучайся, выбирай, терзайся неудовлетворенностью...

Да и что за скучные всё люди попадают! Лет семьдесят назад, помню, прицепился я к одному священнику. Его ангела уговорил пока немного отдохнуть: мол, сам все дела его запишу-перепишу, все в лучшем виде потом представлю. Он и рад-радёшенек. Говорит: «Все равно его через полгода расстрелять должны как врага народа, так что много не напишешь». Ну, не напишу, так хоть понаблюдаю.

В первое время думал: ничего, занятный священник попался. Я прямо-таки оторопел от обилия благочестиво-философских размышлений. Пару раз ему даже в видениях являлся: хотелось настоящего диалога. Однажды целый диспут развели: о гностиках, об Авиценне говорили (я из-за этого Авиценны внеочередную консультацию у одного ангела по дружбе взял). А в следующий раз он мне говорит: ты, мол, мне испытание и соблазнение, ибо нет четкого свидетельства твоей, так сказать, ангельской природы. Я даже плюнул в сердцах. И так ему за всё оставшееся время и не показался больше.

Ближе к расстрелу позвал с третьего неба его ангела, рассказал все как на духу и оставил провожать душу.

И опять – ну зачем, какой смысл во всем этом?

Неважный из меня соглядатай. А ведь хочется найти себя, понять, зачем ты в этом мире. Самое главное – ответить себе на вопрос, мучающий постоянно: почему я – неприкаянный? Чем я такое заслужил?

Мне пять-шесть тысяч лет, мы все здесь погодки. Сколько я себя помню – всегда был ангелом без определенного, так сказать, места жительства. Все остальные – и душу в тело посадят и из тела проводят, на мытарствах все благодеяния назовут... А я? Чуть не по нраву мне человек – улетаю. Некоторые ангелы охотно со мной частью обязанностей делятся, а других не допросишься. Ну, на нет – и суда нет.

Помню, в 1644 году по новому исчислению наблюдал одну бабушку из новообращенных в какой-то африканской колонии. Вот были времена! Мы с ней целые ночи напролет беседовали: не бабка – дар небес. Я даже, грешен, по хозяйству ей несколько раз помогал – там тесто, листьев каких-то принести. А всё почему? У неё душа на меня похожа: сама не знает, чего ей надо.

Когда ей осталось год до перехода, я ей всё, как есть, доложил и предложил оставшееся время заполнить путешествиями и приключениями. И что? Она сразу – о родственниках да о подготовке к смерти. Скучно...

\*\*\*

Сегодня в каком-то городе в окне девочку увидел. Сидит, смотрит

на ночной город, а в глазах – тоска смертная. Глянул на ауру – через пять дней, причина – самоубийство. Заинтересовался. Подсел к ней и дал ей способность видеть. Она даже не удивилась.

«Ты, – говорит, – кто?». Я говорю: «Ангел небесный. А ты?» – «А я...» – и заплакала. Я обнял её, покачал в белых крыльях и говорю: «Да брось ты! Будут у тебя и мама и папа! Хочешь тебя завтра же удочерят?» – «Дурак», – говорит. И отвернулась. Я не обиделся.

Потом на Совете узнал: мать и отец у неё три года назад в автокатастрофе погибли. Ей тогда семь было. Людям бывает больно, когда такое случается. Три дня подождал и опять явился. Говорю: «Можно мне просто поболтать с тобой?» – «Валяй», – говорит. «Слушай, давай договоримся так: мне надоело мыкаться по свету, и тебе, гляжу, здесь задерживаться не хочется – всё-таки детдом не из лучших. Если за оставшиеся два дня я тебя уговорю не травиться уксусом, который ты собираешься стащить в столовой, ты обещаешь мне разговаривать со мной и дальше?». Судя по ее удивленным глазам, эффект неожиданности был достигнут. Я всё-таки неплохой психолог. «Ладно!» – и ударили по рукам.

Начал я так: «О чем тебе рассказать... Пожалуй, вот такую историю. Две тысячи лет назад я знал одну девочку, очень похожую на тебя. У нее отец погиб на каменоломнях, когда она была двух месяцев от роду. Мать засек надсмотрщик за какую-то провинность, причем на глазах девочки. До сих пор помню: он сечет, мать кричит, а девочка (ей тогда было семь лет) – смотрит. Ее маленькие руки повисли по бокам, как плети, глаза – большие и чёрные. И – аура. Это главное. Он сечет и, знаешь, с каждым новым криком и стоном матери аура у девочки все тусклее и тусклее. У детей обычно она чуть голубоватая с золотом по краям. Восход на озере или на море видела? Нет? Ну, мы это дело поправим. Так вот, пока она смотрела, аура у неё стала грязно-желтой, затем – совсем серой. Она такого цвета бывает обычно у безнадежно больных, но девочка прожила еще десять лет. Я иногда ее навещал, вот совсем как тебя сегодня...».

«А что с ней случилось через десять лет?» – «Ее убили при попытке к бегству. Перед побегом она неудачно пыталась задушить одного из старых надсмотрщиков, ну, того, ты помнишь, что засек ее мать. Он-то и поднял тревогу, в результате – ее поймали и закололи мечом...» – «Зачем?..» – «Что зачем?» – «Зачем ты к ней приходил?» – «Ну, знаешь, мне было, прежде всего, любопытно: во-первых, она хороший собеседник, совсем как ты. Во-вторых, с такой аурой не живут дольше недели, а тут – десять лет! Само по себе любопытно...».

Девочка свернулась калачиком на детдомовской кровати (я приходил к ней ближе к ночи) и вдруг сказала, – так, как будто предлагала

мне что-то: «Уйди, пожалуйста. Не приходи ко мне больше!». Я напомнил о договоре. Она: «Плевать!».

Я ушел, но мне снова стало любопытно: во-первых, аура у нее сияла зелено-голубым. Так бывает, когда человек понял для себя нечто важное, то, что способно поменять его судьбу и судьбу окружающих. Во-вторых, более любопытных объектов для наблюдения у меня в ближайшее время не предвиделось.

Я решил последить за ней, не досажая беседами.

Идею с укусом она отвергла окончательно. Зато значительно изменила свое внутреннее отношение к миру, что было заметно по реакции окружающих. В детдом она попала около двух лет назад, поскольку единственная из оставшихся родственников – старая бабушка по отцу – не в состоянии была ухаживать и следить за ребенком. Девочка вела себя дичком, всех сторонилась, что, конечно, привело сначала к ее неприятию остальными детьми, а затем – к насмешкам и издевательствам с их стороны. Их можно понять: внутренняя агрессия и неприятие мира (а у девочки в душе тогда светилось именно это) всегда ведут к подобным результатам.

После моих визитов и не совсем приятного расставания с нею она стала как-то более открыта и отзывчива. Несколько раз замечал у нее золотисто-красные цвета, что является знаком постоянной готовности помочь. Ангелов это обычно радует: мол, вот это наш человек, такой – придет срок – мытарства, как семечки, преодолеет. Я же обычно не обращал на такие мелочи внимания.

В этот раз поймал себя на чувстве, похожем на радость.

Старею?

Кстати, меня встревожило еще одно обстоятельство: сколько себя помню, перед тем, как наблюдать за человеком, мне всегда приходилось договариваться с их постоянными соглядатаями.

А у этой куда он делся?

Спросил на Совете, те пожимают плечами: мол, бывает такое. Редко, но бывает: живет человек, а ангела у него нет – ни за левым плечом, ни за правым. Мне это показалось странным и достойным особого внимания. Я стал следить за девочкой пристальнее.

\*\*\*

Сегодня старшие, человек десять (девчонки и парни из подросткового интерната, – соседнее здание рядом с детдомом), схватили ее с подружкой, заперли в туалете и говорят: «Вы должны друг с другом подраться. Так, чтоб кровь была. Не будете драться – убьем». У моей Юли аура сразу вся красными пятнами пошла. Говорит: «Черти вы последние, я Катеринку

бить не буду!». Тогда они всей толпой кинулись на нее. Один из них – Витька, такой белобрысый, самый крупный из всех и самый злой, начал пинать ее штиблетами в живот. Мне это не понравилось, и я быстренько устроил приход воспитателей (усилил их некоторые естественные потребности). Те разогнали толпу и отправили Юлю в лазарет. Девочке было очень больно, идти отказывалась, размазывала грязь по щекам и пыталась успокоить подругу. По дороге у нее в области печени что-то невыносимо загорелось, и ее понесли в лазарет уже без сознания. Я воспользовался случаем и повел ее душу на свое любимое место – между вторым и третьим небом. Там я часто отдыхал в одиночестве, ибо об этих местах мало кто ведает из нашей братии.

Принес ее, а душка у нее маленькая, светленькая – почти как у некрещеных младенцев, когда их переносишь после смерти (я как-то раз напросился участвовать в этом – так, ради расширения опыта). Говорю ей: «Слушай, Юль, давай помиримся. Честно слово, не с кем и поговорить нормально! А просто так наблюдать за тобой – никакого удовольствия». Она головкой согласно покивала и спрашивает: «А с Катей все хорошо?». Я поморщился, однако же связался с Катиным соглядатаем. «Да всё отлично, сидит твоя подруга на своей кровати и за тебя переживает!». Душка захлопала в ладоши: «Покажи мне здесь что-нибудь?!» – «Да пожалуйста!» – говорю. Посадил ее на плеча и отвез в преддущье. А там – светло, зелено, солнечно, речка бежит-звенит, воздух глубокий-чистый, – в общем, как всегда.

«Ой, как хорошо! А что это за детишки возле речки играют?» – «А это, – говорю, – души младенчиков умерших. Некоторые из них скоро на землю снова собираются» – «А кто с ними?» – спрашивает. «С ними, – говорю, – тетя Наташа, ваша соседка, помнишь, которая в яслях работала, ее поездом на станции зарезало?» – «Как же, – говорит, – помню. Она такая добрая, мы ее очень все любили...» – «Вот теперь она за детьми присматривает. Здесь ее тоже любят... Тебе, кстати, пора, долго здесь оставаться нельзя, а то вернуться не сможешь. Если захочешь, я потом тебе еще что-нибудь покажу», – и отправил ее назад, в тело. Там уж «Скорую» вызвали, испугались: что-то внутри ей повредил стервец своей штиблетой!..

\*\*\*

К стервцу пришел ночью, вырвал душу за уши и говорю: «Пойдем, покажу тебе, где таких, как ты, держат!». Перетащил его по мосту. Ну, там внизу – стоны, руки-ноги всплывают, скрежет зубовный, всё как полагается. Он спрашивает: «А там, под мостом, кто?». Я говорю: «Известно кто – те, кто младенцев из утробы вытравливал, души губил

иль молоко с водой смешивал. Ну, да это не твоё, твоё – вот!» – и сбросил его в яму для душегубцев и насильников. Там кругом цепи висят да крючья, и черти вымещают злобу на спинах и внутренностях попавших сюда. Постоял на краю, разрешил им немного попугать его (с ангелом его, понятно, договорился, да тот и не возражал, наоборот, помочь вызвался). Затем вытаскиваю его душу за уши и говорю: «Ну, видел, где измыватели да насильники век коротают?». Трепещет душа его. «Если, – говорю, – ещё раз поймаю на подобных занятиях, здесь и оставлю», – и швырнул душу в тело, – едва не промахнулся.

Юлька через три дня – как огурчик. Сидим ночью – болтаем.

«Я ведь почему на тебя разозлилась, – говорит, а аура коричневает: стыдится девчонка, значит, – ведь ты словно и чувствовать ничего не умеешь!». Меня это заинтересовало, попросил поподробнее с сего места. «Ну, вот смотри, – и умильно так лоб свой с родинкой тереть начала: всегда так делает, когда задумывается. – Ведь та девчонка на каменоломнях, про которую ты рассказывал, ведь у неё никого, совсем никого не осталось. И ты видел этот момент, – момент, когда вот еще кто-то у нее есть, а через несколько минут уже не будет. И ей позволил видеть это. И тебе было только любопытно...» – «А что же я должен испытывать – жалость, что ли? Нам запрещено вмешиваться в судьбу людей! Они должны совершать свой выбор сами. Если ее матери суждено было погибнуть от рук надсмотрщика, а девочке – увидеть это, – кто смог бы этому помешать?» – «Ну, ведь ты помог мне? Ты же сам рассказывал: заставил прибежать воспитателей, проучил Витьку? Так?» – «Так-то так, – я был обескуражен и раздражен, – да не совсем так. С тобой по-другому. Так, как с тобой, у меня еще никогда за эти шесть тысяч лет не было...» – «А что же изменилось?». Я пришел в такое смятение от ее вопросов, что впервые за всю мою ангельскую практику, вынужден был покинуть наблюдаемого без предупреждения.

Ушел к себе, на любимое место между вторым и третьим небом.

«Да что это я?» – я был чрезвычайно недоволен собой. Столько раз думал обо всех этих вопросах, о своей неприкаянности, о том, как правильно относиться к подобным ситуациям – и нб тебе! – пожалуйста: десятилетняя девчонка выбивает меня из основательно накатанной за эти тысячелетия колеи.

Дело не в том, что меня беспокоили вопросы, кого спасать, а кого не спасать: действительно, не мое это дело, а Того, кто волосок подвесил. Меня мучил именно этот конкретный вопрос и эта конкретная ситуация: «А что же изменилось?».

Я – существо разумное и решил спокойно сопоставить эти две

ситуации. Я даже решил разыграть в своем воображении две сцены: избиение матери у той девочки две тысячи лет назад и избиение в туалете совсем недавно.

По общему смыслу события мало чем отличаются – и там, и там было зверское, несправедливое, то, что надо было остановить, то, чего не должно быть. Но мое отношение к ним – совершенно различное. Там, две тысячи лет назад, я был объективен и спокоен. Там я созерцал ауру девочки, и ее переливы захватывали меня больше всего. В отношении Юли мне, в общем, на ауру было, как она ни скажет, наплевать!

Ну, нет! Ну, не привязался же я к ней за такое короткое время?! Меня на Совете, – скажи кому, – засмеют!

Я решил исправить дело временем и не являться ей и не следить за ней каких-нибудь лет пятьдесят. Благо, в отличие от других, я могу это себе позволить. Кому какое дело! Я – неприкаянный. Я на Совете никакого места не занимаю. Меня никто никогда не слушает. Мне на-пле-вать!

\*\*\*

Объявился у неё на третий день. Она скорее зарылась у меня в крылья: «Ну где ты был? Куда ты подевался? Я так соскучилась, у меня столько произошло!». Это за три дня-то?! Ну что там произошло: ну, Витька приходил извиняться, ну, оценку хорошую получила. Эка невидаль! А по какому предмету? Математика? О-о, уважаю точные науки.

В общем, поболтали, причесал ее, ногти постриг – откуда она столько грязи находит, чтобы под ногти забивать?!

«Ты, – говорит, – обещал мне ещё что-нибудь показать» – «Обещал, – говорю, – значит, обязательно покажу». И уволок ее в обычные обитатели, где наши с некоторыми людскими душами обитают. Показал: на зеленых-зеленых холмах стоят маленькие белые домики, церквушка с позолоченным куполком посреди селения. Зашли, посмотрели. «А почему, – спрашивает, – икон нет?» – «А зачем, – говорю, – здесь иконы? Здесь все свои служат – в живую!» – «Давно хотела тебя попросить, но не знаю...» – «Зато я знаю...» – и сам недовольство изображаю, а светящиеся глаза свои спрятать не могу: ведь уже несколько дней специально к этому готовился, всё узнавал и организовывал.

Повел её в домик через три улицы – тот, что налево от церкви.

Домик чистенький-чистенький, и всё в нем белое: и стены, и занавески, и потолки, а чувствуешь себя уютно. Как увидела она своих родителей, бросилась к ним, целует их – и руки и лица, и плачут все втроем! Я сам отвернулся и правым крылом немного закрылся, чтобы не дай Бог не увидели, как я слезу пустил.

Сели с ними за стол, угостились, чем Бог послал. «Мама, –

спрашивает Юля, – а почему у вас еда так похожа на ту, что мы сейчас в детдоме едим?» – «Это потому, дочка, что ты, как ешь, так о нас вспоминаешь – вот и помин нам, доходит до нас... А ведь это только недавно у нас совсем хорошо стало, а раньше мы с папой всё время по пояс мокрые ходили: протекал у нас домик. А теперь – вроде бы получше, течет, но реже». Поели, посмеялись, поболтали. «Ну, всё, Юля, – говорю, – пора нам. И без того мы больше, чем положено, здесь пробыли!». Юля посерьёзела и кивнула. Они попрощались, я вывел её на двор, а сам – к родителям и тихо спрашиваю: «Я гляжу: домик-то у вас с тремя комнатами. Третья для кого? Я правильно догадался?». Те кивают – и радостно, и грустно одновременно. Тут я посерьёзnel.

Помахали мы, родители из окна нам тоже сделали ручкой. Веду я Юлю к выходу, а она говорит: «Анг, – это она мне такую «кликуху» придумала: у всех в детдоме, говорит, клички есть, и у тебя должна быть; я смеялся и не возражал. – Анг, – говорит, – а кто решает, сколько нам оставаться положено?». Я сразу понял, куда ветер ветку клонит: «Вот что, Юля, я твою просьбу исполнил. Часто ты их навещать не сможешь. Придёт время – и вы снова будете вместе. Третью, маленькую комнатку видела? Это тебе приготовили. Придёт твое время, и ты с ними будешь жить там вместе – в счастье и радости». Она помолчала. А потом снова говорит: «Анг, но ведь если бы не ты, я бы давно уже была там – либо кислоты напилась, либо убили бы меня тогда в туалете?..» – «Дура! – это я сгоряча. – После самоубийства не сюда попадают!» – я ведь вспльщив иногда. Схватил её и провалился с ней на шесть уровней вниз. Поднялся на обожженный пригорок и говорю: «Смотри!». А там – обыкновенное дело. Черти на самоубийцах воду да смолу возят. Плетки макают в жижу вонючую и погоняют побольнее, чтобы резвее тащили.

«Вон ту видишь? Узнаёшь? Узнаёшь, говорю?» – а сам грозен сделался: с ангелами шутки плохи, когда они гnevаются. Посерели мои крылья от адского пламени, вытянулась шея, как у грозной птицы. «Узнаю, – говорит, а сама дрожит мелкой дрожью, – это тётя Шура, та, что повесилась два года назад» – «То-то!».

Юлина тётка должна была взять ее под опеку после гибели родителей, да вот – не вышло... Я швырнул девочку в тело. А сам встал неподалеку, повернувшись к ночному окну. Минут через десять она подошла и потянула меня за крыло: «Ну, не обижайся, Анг! Я больше не буду, я глупая...». Я поднял ее на крылья: «Ты не глупая, ты – маленькая и хорошая...». Мы снова были радостны и болтливы.

«Анг, – сказала она уже потом, – а тёте Шуре уже никак не помочь?». Я покачал головой: «Давай не будем об этом».

Однако приготовленная третья комната у меня не шла из головы. С накопившимися вопросами я поплелся на очередной Совет. Может, там что посоветуют...

Посоветовали мало: если, говорят, комната приготовлена, значит, ее ждут. Но кто знает – когда? Может, лет через пятьдесят?

Я бы тоже так хотел думать, но что-то мне запрещало смотреть даже в ближайшее будущее девочки. Промучившись с неделю, я решил прибегнуть к последнему средству и поднялся на второе небо, где бывал редко: уж больно там светло и многоангельно.

Зашел к одному знакомому архангелу: он всё-таки чином повыше да и разбирается во всем этом получше.

Зашел – поговорили. Встретил он меня прохладно: всё-таки я не залетал к нему уже около полутора тысяч лет. Среди наших это считается не очень приличным. Ну да ладно. Когда перешли к сути, он расхохотался, как больной: «Не узнаю тебя, брат! Да неужели и тебя зацепило?! Это тебя-то, неприкаянного?!». Я только руками замахал: «Да причём тут это? Скажи лучше, как быть?» – «Как, – говорит, – быть: все очень просто: когда ей суждено, тогда и перейдёт она в свою комнатку. Всё, как положено. Или ты забыл, что решать, когда жить и когда умереть, – в наши обязанности не входит?» – «Да знаю я, – я прямо крыльями захлопал от волнения, – да вот беда: ведь если уйдёт она в родительскую обитель, я ей уж и не нужен буду!». Архангел засмеялся так, что закачались все семь небес: «Да ты рехнулся, что ли? – он слегка стукнул меня крылом по голове. – Так и должно быть: её срок придёт, ты проведёшь её душу по мытарствам, а там – концы в воду – летай, ищи себе нового наблюдаемого!» – «Да знаю-знаю... – я устал и был раздражен его менторским тоном и громоподобным хохотом. – Мне просто хочется побыть с ней подольше. Я впервые... впервые что-то такое почувствовал, какое-то жжение вот здесь – за неё» – и показываю ему на грудь, где крылья срослись. Тут он согнал улыбку с лица: «Это хорошо, брат. Так и должно быть. Все мы когда-нибудь приходим к этому, испытываем это. Это хорошо...» – «Да что хорошего? Что испытываем?!» – «Сам, – говорит, – всё поймешь...». Я вылетел от него чрезвычайно злой и недовольный собой.

Когда был у неё, она печаль мою сразу заметила. Я ей выложил всё начистоту: не могу кривить душой. Она, кажется, всё поняла. Оказалось, может, даже больше моего... Обняла меня за шею и говорит: «И я тебя люблю, ангелочек мой!». Так и сказала: «Ангелочек»... Не помню даже, как снова очутился на третьем небе.

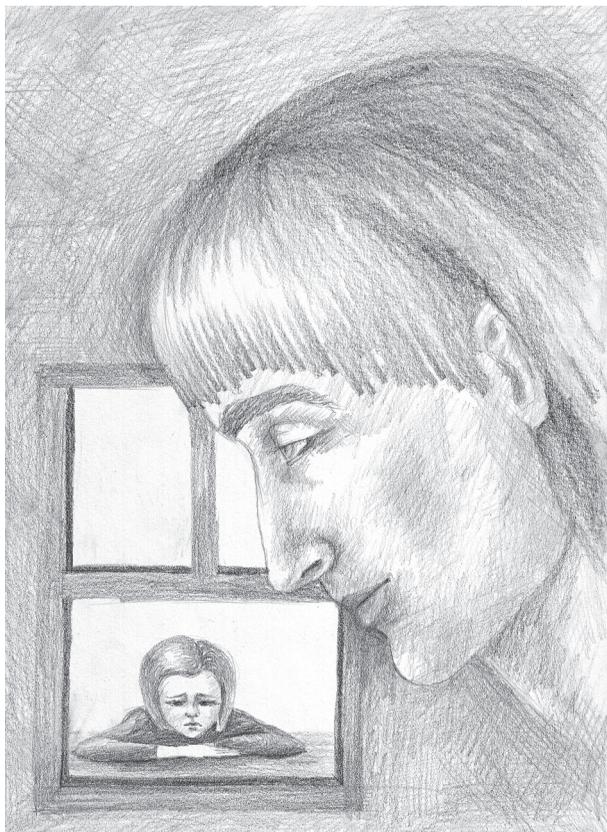
А когда вернулся, она спала, свернувшись калачиком. Я будить не

стал, наваял ей пару снов про что-то приятное...

\*\*\*

Прожила она еще два года. Что-то внутри её непоправимо нарушилось от того сокрушительного удара штиблетой. Я в этом плохо разбираюсь, врачебное это дело, а не ангельское. Мы шли за ее гробом вместе – я и она. А потом было ещё сорок счастливых дней, когда я водил её душу по всем местам, где она была раньше. Мытарства мы прошли легко, отстояли молебен в церквушке с золоченым куполом. Затем пошли к домику, в котором нас ждали ее родители. Она сжимала мою руку своей ладошкой, волнуясь в предчувствии встречи. Все было как тогда, но радостнее. Их души светились красным и позолотой – так бывает, когда искренне любишь.

Когда мы прощались, я обнял её крыльями и поблагодарил. «За что же? Я должна говорить спасибо!» – «Нет, – отвечаю, – я. Ведь я теперь уже не неприкаянный. Теперь просто – ангел. И нисколько об этом не жалею».



*рисунок Татьяны Полововой*

# Жонглер

## 1. В вагоне

Мне было все равно, как реагировали на меня окружающие. Достаточно было того, что они не обходили меня стороной. Ведь не каждый день увидишь человека, жонглирующего шариками без рук.

Впрочем, внимание публики мне давно осточертело: хотелось чего-то большого. Хотелось выхода туда, где не было «нет», «не знаю» и «не могу». Однако пока единственное, что я умел делать хорошо – это жонглировать шариками без рук.

Говорят, это умение досталось мне от деда. Может быть, да только вот беда: я его плохо помню. Детство вообще для меня – тайна за семью печатями. Поэтому любое упоминание о деде для меня – пустой звук.

Однажды на улице я увидел продавца шаров, наполненных гелием. Привязанные к баллону, они трепетали на ветру и стремились вверх. В этом стремлении не было цели: иначе просто не могло быть. Когда бросаешь с обрыва камень, незачем ожидать, что он порхнет вверх, словно птица. Так же и здесь: от шаров нельзя было ожидать ничего, кроме их стремления вверх. Мне было тогда лет пять, может, и шесть: я плохо помню свое детство...

Когда шары взмыли под очередным порывом ветра метров на пять вверх, продавец заметался, как паяц размахивая руками, но все было бесполезно: ничем не связанные, десятки шаров еще долго дразнили взгляды толпы, пока не растворились в облачном дыме.

Это был мой первый опыт в жонглировании.

Жонглировать с помощью рук и жонглировать так, как это делал я, – это, конечно, разные вещи. Но один из основных принципов одинаков: в этом деле главное – понять, в чем «закавыка»: далее – дело техники и упорных тренировок. Но до тех пор пока ты не понял «закавыки» – не быть тебе жонглером. Тот же принцип соблюдается при обучении многим другим простым умениям: плавать, ездить на велосипеде, кидать нож в дерево (так, чтобы обязательно втыкался, дребезжа металлом и рукояткой).

Пока не понял сути, которая всегда проста, но не всегда очевидна, двигаться далее нельзя. Так и здесь: для того чтобы жонглировать, нужно

---

*Впервые опубликовано: «Пролог». Интернет-журнал молодых писателей. М., 2008. <http://www.ijp.ru/razd/pr.php?failp=07602200842>*

понять, как это делается. Это естественно, это элементарно. Но почему-то мало кто из знакомых мне людей способен управлять движением предметов, не прикладывая при этом каких-либо видимых усилий.

Когда я хочу передвинуть, например, чашку кофе с одного края стола на другой, я могу сделать это с помощью рук. Тем самым один предмет – в частности, часть моего тела, руки – будут использоваться в качестве «двигателя». Это воздействие, чуждое предмету. Мы не задаемся вопросом, насколько оно соответствует стремлению, интенции самого предмета...

Впрочем, всё это – отвлеченности, сухие абстракции. Я же всегда хотел живого и чувствующего. Именно умение жонглировать доставляло мне наиболее острое из всех возможных удовольствий, помогало ощущать жизнь всем существом и – любить ее.

Работа в цирке давно перестала радовать меня: каждый день одно и то же – и никакого движения вверх, никакого обновления.

Я ушел оттуда, никому не сказав ни слова на прощание. Там не было ни одного человека, по которому затосковало бы мое сердце. Наверное, это было грубо, наверное, я выглядел как неблагодарное животное: все-таки именно цирк взрастил, выкормил меня, развил мои способности.

Однако никаких угрызений совести по этому поводу я не испытывал и не испытываю...

К пьянящему воздуху свободы примешивалась неповторимая вонь пассажирского вагона. Я взял билет до случайно выбранной станции: важно было только то, что она находилась за сотни километров от цирка.

Кроме меня, в купе ехало еще трое: мать с маленькой дочерью и мужчина, выглядевший как солидный бизнесмен. Оказалось, что – сантехник, возвращавшийся с покупками домой. В общем, попутчики первоначально показались мне не стоящими даже наблюдений вскользь. Однако час совместного и мерного покачивания на рельсах убедил меня в обратном.

Не прошло и нескольких минут, как «солидный бизнесмен» rispetабельно развернул грудь и начал легкую светскую беседу с нашей попутчицей. Темы подбирались самые банальные – покупки, виды за окном и т.п.: очевидно, сантехник был не прочь затеять небольшой флирт с хорошенькой мамашей, – благо, присутствие шестилетней дочки помехой быть не могло. Помехой мог быть только я, однако мой отрешенный вид и сероватый – по сравнению с его новеньким костюмом – пиджачишко сулили и здесь ряд явных преимуществ.

Я описываю эту сценку так подробно только потому, что она послужила началом всех последующих событий и изменений. (Конечно, я имею в виду – событий моей жизни и изменений меня самого. О другом

я далее писать здесь и не собираюсь). Не в том смысле, что совместная поездка с сантехником, мамашей и ее ребенком явились причиной всего, что последовало далее. Нет. Просто так совпало, что наблюдения за этими людьми открыли мне новые горизонты меня самого.

Флирт продолжался. Примерно через двадцать минут небогатый багаж тем для беседы истощился, и сантехник перешёл к анекдотам. Мамаша пару раз ободряюще хохотнула в кулачок в необходимых местах. Это послужило сигналом для перехода к анекдотам нового типа – по степени возрастающей пошлости.

Поскольку смех в нужных местах регулярно возникал, покорение женского сердца происходило быстрее, чем наш поезд добирался от одной станции к другой. Мой интерес к соседям по купе уже собирался перейти в глубокий и здоровый сон, как вдруг я почувствовал определенные изменения на уровне энергетическом.

Последнее словосочетание, конечно, требует пояснений. Однако прибегать к ним я не буду, так как со временем необходимость в них отпадет сама собой. В ином случае я рискую утяжелить многочисленными отступлениями мой и без того нелегкий рассказ.

В районе солнечного сплетения нечто заныло, и всё тело превратилось в отсиженную ногу. Стараясь не привлекать внимания, я краем глаза стал искать причину моего состояния.

В последний раз я испытал подобное, когда поссорился с одной цыганкой. Два года назад какая-то женщина лет пятидесяти, одетая в цветастые лохмотья, подошла ко мне на остановке и стала настойчиво предлагать свои стандартные услуги: «Всю правду скажу! Дай руку, сними кольцо, – всю правду скажу». Я был в плохом настроении и грубо отказал. Тем более что всегда не любил цыган. Отвернувшись от неё, я сделал несколько шагов в сторону и тут почувствовал то, что ощущал сейчас в вагоне. Кто-то обхватил мое солнечное сплетение цепкой ладонью и несколько раз болезненно сжал его. Когда отпустило, я начал искать цыганку, но та растворилась в толпе. Потом я несколько дней не мог жонглировать шарами и бледнел при одной мысли о том, что об этом узнает директор цирка (по совместительству – мой отчим).

Так я впервые встретил человека, обладающего способностями, схожими с моими. Мне это не понравилось.

Беседующие в купе взрослые не вызвали во мне отклика, и тогда я взглянул на девочку. Все произошло случайно и как-то само собой. Только спустя время я понял, что случайность была закономерностью: я выполнил все необходимые приготовления для того, чтобы начать видеть (привел себя в состояние, близкое ко сну; наблюдал краем глаза; неожиданно

почувствовал себя открытым, беззащитным и т.д.). И я увидел. На том месте, где сидела девочка, находилось небольшое бледновато-розовое пятно. За доли секунды оно потемнело, и от пятна отделилась сиреневая масса, которая, как змея, метнулась в сторону сантехника и ударила его в районе лба.

Я вскочил с места, словно с раскаленной сковородки. Купе приняло прежний вид, и я увидел (скорее, почувствовал), что все трое моих соседей удивленно воззрились на меня. Быстро извинившись, я пулей вылетел в коридор и помчался к открытому окну возле туалета. Пять минут я приходил в себя под струей проносающегося мимо воздуха. В голове был туман, но и в таком состоянии я смог догадаться о причинах произошедшего.

Это – ревность или месть, или и то и другое вместе. Но сознательно или бессознательно был нанесён удар? Её возраст не предполагал понимания собственной силы. Тогда мне было двадцать, и я был далек до полного контроля над своими способностями. Впрочем, не это меня волновало: я чувствовал необычайное возбуждение и радость оттого, что открыл в себе нечто новое. Значит, существует возможность развития! Стоило только вырваться из душной атмосферы цирка, где ничего, кроме ловкости (правда, ловкости своеобразной), мне развить не удалось; стоило только сменить привычное и надоевшее окружение, – и вот оно – долгожданное откровение!

В приподнятом настроении я отправился в сторону своего купе. Через мгновение от радостного настроения не осталось и следа: в дверях купе столпилось несколько человек. Среди них выделялось встревоженное лицо проводника, то и дело поглядывавшего в другой конец вагона. «Сейчас, сейчас он должен подойти!» – бормотал он, словно причитая по кому-то. Подойдя, я увидел лежавшего (почему-то на моем месте) сантехника, над которым наклонился какой-то другой мужчина в черном костюме. Оказалось, что это был наш сосед по купе: он умел делать искусственное дыхание, чем сейчас активно занимался. Ожидали кого-то из медработников, сопровождающих поезд. Я отделился от собравшихся и принялся рассматривать в окно пробегающие мимо столбы. Тут только я заметил стоящих ближе к другому концу вагона бледную мамашу и смотревшую в окно девочку.

Никакого розового пятна – девчонка как девчонка. Я решил, что правильнее будет подойти к ним. Спросив, что случилось, я выслушал мало занимательную историю про внезапную бледность собеседника, обморок и т.д. Говорила, конечно, женщина. Девочка терла пальчиком стекло вагонного окна и была задумчива.

Врач наконец-то объявился и сделал несколько уколов своему внезапному пациенту. На ближайшей станции не приходящего в себя пассажира пришлось эвакуировать не без моей и соседа по купе помощи.

Мне предстояло ехать еще почти сутки, но я решил сойти на той же станции, где высадили сантехника. В конце концов мне было всё равно, где выйти, а провести еще несколько часов рядом с такой опасной соседкой желания не было. На сегодня открытий достаточно.

## 2. На вокзале

Скорая умчалась довольно быстро. Я не стал уточнять, куда повезли моего недавнего попутчика. Внутри была уверенность в том, что при необходимости я всегда смогу разыскать его: по всем признакам, городишко, к которому относилась приютившая меня станция, был столь мал, что навряд ли в нем был большой выбор, куда вести *умирающего*. Более того, по какой-то нелепости после того, как мы положили сантехника на носилки, мне достался его чемодан. «Видимо, решили, что я – его родственник или близкий друг, – подумалось мне. – Тогда почему же мне не сказали, куда его увезли?». Впрочем, меня это заботило всего несколько минут: я решил, что долго здесь не задержусь и, вернув чемодан, отправлюсь дальше.

«Но почему я сказал себе “умирающего”?».

Я постарался избавиться и от этой тревожной мысли, несмотря на то, что обычно внимательно относился ко всем внутренним подсказкам.

[...]

Словоохотливая старушка, торгующая семечками около вокзала, встретила меня такими словами: “На станции покушать, сынок, не найдешь. Иди дальше. Там тебя накормят, горемычной!”.

Последнее ее словечко меня насторожило, и я невольно передёрнул плечами. Ничего не сказав в ответ, я пошел прочь от станции. Шагов через десять мне снова пришлось обернуться в сторону торговки: бабка во весь голос причитала над только что перевернувшимся ведерком с семечками. Я увидел, как она бросилась перед ним на колени, пытаясь собрать рассыпанное.

Первым моим порывом было помочь ей, но бабка, стоя на коленях, взглянула на меня и почему-то погрозила в мою сторону кулаком.

Несколько озадаченный я пошел дальше в поисках закусочной. Шагов через сто, повернув за угол, я наткнулся на то, что искал.

Забегаловка представляла собой помещение полуподвального типа на шесть посадочных мест. Два из них были уже заняты. Рассмотреть сидящих подробнее мешал приятный полумрак и здешний запах, напрочь

отбивающий всякий аппетит. Слегка поморщившись, я направился в сторону продавца и заказал несколько безобидных на вид пирожков с минералкой.

Затем я устроился в противоположный от уже занятых мест угол кафе, поставил чемодан под ноги и вознамерился откусать. Однако мое желание спокойно поесть было пограно самым бесцеремонным образом. Сидящие поднялись, подошли к моему столику и, подвинув к нему два стула, сели рядом. Все это было сделано в живописной манере «а щас мы посмотрим, что это за перец!».

Передо мною сидели двое мужчин лет тридцати-тридцати пяти. Судя по виду, в жизни им гораздо чаще приходилось работать руками и мускулами, нежели головой. У обоих были красноватые лица с однодневной щетиной. В первый момент они мне вообще показались братьями-близнецами, но затем я нашел несколько незначительных отличий. Один из них – сутулый, с серыми глазами и длинным носом, оканчивающимся острой частью, которая напоминала клюв, – явно доминировал над своим более рослым приятелем. Именно сутулый заговорил первым. От перегара меня слегка замутило. «Ты хто такой?».

Вопрос был столь фундаментален, что я успел откусить ещё кусок пирожка, размышляя над ним.

Длинносый продолжил: «Ты чё – глухой, что ли? Курить есть?». Я продолжал жевать, еще не решив окончательно, в какую сторону повернуть ход событий. Так как немедленного ответа не последовало, в игру вступил его более крупный напарник: «Да ты охренел, что ли...», – последовало несколько еще более крепких слов, видимо, обычно используемых им в таких ситуациях. Чувствовался хорошо слаженный и отработанный ни на одном мне сценарий.

Со стороны копошившегося за прилавком хозяина забегаловки не последовало никаких замечаний: вероятно, всё шло как всегда.

Я с интересом ждал продолжения: неужели в ход пойдут кулаки, прямо не выходя из закуской? Небритое красное лицо того, что был крупнее, тяжело дышало в десяти сантиметрах от меня.

Я закончил жевать и принялся открывать минералку. Это явно не входило в сценарий привычного действия, и они замешкались на целую минуту. Наконец, сутулый резко нагнулся и мгновенно овладел чемоданом сантехника.

«Щас посмотрим, что у тебя здесь», – на моих глазах он стал возиться с замками чемодана. Я отвернул крышку пластиковой бутылки и сделал пару глотков, наблюдая за попытками открыть чемодан. К моему и его неудовольствию, старый добрый советский чемодан оказался с кодовым

замком. Ничего не добившись, сутулый выругался, всучил чемодан своему товарищу и предложил мне: «Ну, чё, выйдем?»...

Ситуация давно перестала мне нравиться. Раньше я никогда не пользовался своими способностями для самозащиты, нападения, вообще – какого-либо воздействия на людей. Мне просто не приходило это в голову, да и подходящих случаев для такого применения силы в моей жизни не возникало.

Существенным фактором, не позволявшим мне использовать свой дар так, как я применил его тогда в забегаловке, была заметная ограниченность моих сил. После выступления (в основном, я жонглировал шарами и мелкими предметами) я всегда очень уставал и в последнее время начал страдать резкими приступами головной боли.

Главным моим коньком всегда была ловкость: я отточил свое мастерство по организации различных фигур из парящих в воздухе предметов до такой степени, что мог создавать сложнейшие композиции. Последним моим достижением был целый город, выстроенный из летающих мелких шариков. Прекрасный город парил над зрителями, медленно вращаясь и поднимаясь под самый купол. Помнится, я был горд и счастлив, выступая с премьерой этого номера.

Самым важным в моей цирковой работе было то, что, выступая, я никогда не терял контроль ни над способностями, ни над своими мыслями и эмоциями. С каждым выступлением я только усиливал свое умение управлять.

Надо признаться: то, что произошло далее в кафе, мною контролировалось мало...

Вообще, я никогда не любил общество и общение: друзей у меня почти не было, говорить и рассказывать я не умел и не любил. Быть может, этим объяснялась моя крайняя раздражительность при контактах с теми, кто в том или ином аспекте не разделял моих убеждений и выводов. В цирке мой характер был известен всем. Многие по этой причине старались избегать меня и замолкали, когда я входил...

Когда сутулый взял чемодан, я ощутил, что мои конечности начали неметь. Казалось, что вся кровь от головы и рук хлынула куда-то в солнечное сплетение и остановилась там. Я услышал, как сердце замерло, а затем бешено застучало в районе живота. Раздражительность переросла в настоящую злобу.

Сутулый схватил меня за рукав рубашки и стал тянуть к выходу. В этот момент что-то прошлестело в воздухе и со звоном разбилось о голову длинноносого...

Произошедшее далее я помню смутно. Помню, что брел по городской

улице, уходя прочь от станции. Мимо проезжали редкие автомобили. Начинало вечереть. В левой руке болтался злополучный чемодан. Когда стемнело, я оказался возле желтовато-грязного двухэтажного здания – местной больницы.

На душе было необыкновенно тяжело: я не знал точно, что произошло в закуской, однако понимал, что случилось нечто страшное. Причем не столько внешне, сколько внутренне. Я позволил себе нечто такое, что позволять было нельзя. Голова была чугунной, и хотелось спать.

Подойдя к решетчатым воротам больницы, я обнаружил кнопку звонка. На мой сигнал вышла плохо покрашенная медсестра и сообщила ожидаемое: «Приём посетителей давно закончен, приходите завтра!». Потратив некоторые усилия, мне удалось уговорить медсестру не выставлять меня сразу и узнать, здесь ли мой сантехник. Она поворчала и спросила его фамилию. Услышав, что я не знаю, она замахала руками и принялась, как заведенная игрушка, повторять: «Завтра. Приходите завтра! Всё завтра. Завтра».

Пришлось уйти не солоно хлебавши. Уже прощаясь, я догадался спросить медсестру, есть ли в городе гостиница. «Только на вокзале», – ответила она и захлопнула дверь перед моим носом.

Идти в сторону вокзала после случая в забегаловке мне совсем не хотелось. Ночевать на улице в незнакомом городе – перспектива тоже не самая радостная. Единственное, что успокаивало, – присутствие во внутреннем кармане моей легкой куртки относительно приличной суммы. Это было всё, что удалось скопить за последние полгода – времени, которое я потратил на подготовку побега из цирка.

Я двинулся дальше вглубь города и вскоре поймал такси. Таксист – молодой парень лет двадцати пяти – оказался лучше, чем медсестра, осведомлен по части городских гостиниц и довольно быстро доставил меня на другой конец городка, где имелся какой-то ресторан с возможностью заночевать в отдельном номере.

Расплатившись, я добрал до своей комнаты (заведение больше напоминало студенческое общежитие) и, войдя, сразу распластал свое тело на неразобранной кровати. Там оно и оставалось до утра.

### **3. Картина**

Проснулся я совершенно разбитый. Поплелся в единственный на всю гостиницу туалет и попытался взбодрить себя умыванием.

Ничего не вышло. Спустившись в ресторан, я заказал себе легкий завтрак и уже за едой стал доискиваться причины моего смутного и подозрительно напоминающего депрессию состояния.

Вчерашний случай в кафе был уже пережит и эмоционально приглушен. Тут что-то новое. Я начал мутными глазами оглядывать небольшое помещение ресторана, и мой взгляд остановился на картине, висевшей на противоположной от меня стене. Неожиданный холодок пробежал по всему позвоночнику: я где-то видел эту картину! Я помню её! Вскочив, я пересек ресторан и остановился возле стены. Картина висела достаточно высоко: те, кто ее вешал, явно не предполагал, что ее будут пристально разглядывать.

На полотне широкими мазками масляной краски был изображен какой-то городской пейзаж. Приглядевшись внимательно, я понял, что на картине нарисованы местный вокзал и небольшая площадь перед ним. Зелеными точками выделялась трава, пробивающаяся в трещинах асфальта. С левой стороны от площади в каких-то приглушенно-темных тонах была изображена закусовая, в которой я вчера испытал неприятное приключение.

По точности передачи деталей картина напоминала, скорее, фотографию. Художник не забыл ни одной мелочи: два больших фонарных столба недалеко от остановки; полуразрушенный памятник в центре площади; старые деревья с листьями, уже предчувствующими осень. На секунду мне показалось, что я усилием чьей-то воли перенесся во вчерашний день, когда, отправив сантехника на «Скорой», я побрел в сторону злополучной забегаловки. Я словно вдруг приподнялся над вокзалом на высоту птичьего полета и увидел то, что случилось со мной вчера, но с другой, не своей, точки зрения.

Медленно скользя глазами по картине, я неожиданно разглядел фигурки двух человек, которые были едва заметны с той условной высоты, с которой изображал увиденное автор картины.

Одна фигура, обозначенная несколькими смутными пятнами, находилась совсем недалеко от серого здания вокзала. Другая – какая-то вытянутая, темно-синяя, размытая – была помещена художником на левую сторону площади, заканчивающейся закусовой.

Я немного отошел от стены, на которой висела картина, чтобы широкие мазки, вблизи принимающие вид пятен, приняли удобный для глаза вид. Неясная, почти безумная догадка уже начала ускорять стук моего сердца, неприятным ознобом пробегая по всему телу. Я закрыл глаза и, стараясь оставаться объективным, еще раз посмотрел на полотно. Остановившись на изображенных людях, которые вовсе не являлись композиционным центром картины (скорее, представляли собой пойманные взглядом художника элементы пейзажа), я совершенно четко осознал: на картине изображена станция вчерашнего дня. Фигурка около

вокзала – торговка семечками, причитающая над опрокинутым ведром; размытое, темно-синее пятно с чем-то коричневым в руке – я, шагающий к закусочной и держащий в руке чемодан.

Утренний свет от окон ресторана поплыл у меня перед глазами, и ноги стали совсем ватными. Я тяжело опустился на ближайший стул.

В столь раннее время в ресторане было всего два посетителя (один из них – я). Судя по всему, мое поведение уже давно привлекло внимание немногочисленного персонала. Ко мне подошел официант в потертом костюме и спросил: «Вы что-то хотели?» – «Я бы хотел... – запинаясь, проговорил я, – хотел бы узнать...» – «Да?» – невозмутимый и слегка нахальный вид официанта привел меня в чувство. «Эта картина – давно у вас? Кто ее автор?».

В глазах официанта промелькнуло некоторое удивление, но потом он, явно потеряв ко мне интерес, пробормотал: «Картина? Да Бог ее знает... Она всегда здесь висела. Нет, сначала она висела вон там. – Он показал на противоположную окнам стену. – Потом был ремонт, и ее прибили сюда». Довольный своим ответом, он собирался покинуть излишне любопытного клиента, но я все-таки остановил его: «А автор? Кто автор?» – «Да кто-то из друзей шефа, то есть нашего директора», – поправил он сам себя и почему-то сразу засуетился, смахнул крошки с соседнего столика и тут же исчез в дверях служебного помещения.

Я посидел за пустым столиком еще пару минут, раздумывая, что делать с этой бессмысленной ситуацией (по крайней мере тогда никакого смысла в этом открытии я не увидел; да и кто смог бы его увидеть?). Встав, я собрался пойти к себе в номер, поскольку совершенно забыл о своем незаконченном завтраке, оставленном на другом столике. Но меня остановила мысль о том, что картина может иметь авторскую подпись (то, что это оригинал, никакого сомнения не было). Через минуту я обнаружил едва заметные закорючки в одном из нижних углов полотна. Буквы подписи почти сливались с темным стволом изображенного дерева, однако мне удалось разобрать дату и фамилию художника. Картина была написана четыре года назад. Фамилия – либо Смирнов, либо Смурнов. Эта информация не добавила ничего нового к уже увиденному. Кинув прощальный взгляд на загадочную картину, я постарался уверить себя в том, что замеченное сходство картины с моими воспоминаниями вчерашнего дня – всего лишь фантазия, результат стресса от непривычной обстановки. В общем – глупость.

Разрешив таким образом эту проблему, я отправился к себе в комнату.

## 4. В морге

Утренние облака рассеялись над городом, и выглянуло солнце. Это, а может быть, и чашка недопитого кофе существенно улучшили мое самочувствие.

Я решил завершить дело с возвращением чемодана. Завладев гостиничным телефоном, я обзвонил местные больницы (всего их оказалось три) и вскоре, несмотря на незнание фамилии сантехника, сумел определить его местопребывание.

Тонкий женский голос на том конце провода замолчал на минуту (искали сведения о новых поступивших), а потом осведомился, кем я прихожусь пациенту. «Близкий знакомый», – ответил я и как-то сам поверил в это. «Сожалею, – бесстрастно ответил голос, – Доргин Василий Петрович, гость нашего города, скончался сегодня ночью, не приходя в сознание...» – «Вы уже позвонили кому-нибудь из его родственников?» – «Да, с ним была записная книжка. К нам едет его жена и дочь» – «Я сейчас к вам приеду!» – крикнул я в трубку.

Быстро одевшись и схватив чемодан, я спустился вниз. Там заплатил за номер на три дня вперед, вызвал такси и спустя 20 минут уже шел по больничным коридорам (молоденькая врач, узнав, кто я и зачем приехал, проговорила нечто маловразумительное и затем повела меня к главврачу). Главврач – пожилой, грузный мужчина – выслушал меня и сказал: «Конечно, мы передадим родственникам его чемодан, как только они приедут. Если хотите, вас отведут в морг, чтобы вы... ну, понимаете...». Я согласился: мне вдруг показалось важным удостовериться, что умерший и мой сантехник – один и тот же человек.

В морг – розовое здание недалеко от больницы – я пошел в сопровождении медсестры. Сантехника я узнал сразу. Медсестра и еще кто-то в белом халате стояли неподалеку и старались не мешать мне, пока я смотрел в лицо бывшего попутчика.

Странные чувства овладели мною в ту минуту. Я ощутил непонятное родство с умершим, неопределенную тонкую связь между ним и мною. Эта связь была совсем непохожа на ту, что возникает иногда между убитым и невольным свидетелем преступления. На мгновение мне показалось, что это я лежу там – такой бледный и отделенный от жизни, а он наклонился надо мной и пристально смотрит в лицо. Мои руки похолодели и, видимо, меня заметно «заштормило», так как тут же раздался встревоженный голос сзади: «Вам плохо?». Я отрицательно покачал головой и направился к выходу. Уже выходя из здания морга, я осознал, что у чувства, завладевшего мною, когда я рассматривал лицо умершего, есть вполне конкретное название: я ощущал непонятную ответственность, точнее –

какую-то внутреннюю несвободу, неслучайность всего произошедшего.

Главврач вручил мне расписку за чемодан, которую я потерял почти сразу, как вышел с территории больницы. Внутри была опустошенность, которую обычно испытываешь, когда цель достигнута. Но что это была за цель? Глупость, глупость, глупость!..

## 5. Директор

«Не Смирнов. Смирнова. Катя Смирнова – дочь моего друга. Чем же вас заинтересовала эта картина?» – его взгляд был серьезен и даже строг. Мне стало не по себе. Идея обратиться к директору ресторана перестала казаться мне разумной. «Понимаете, – сказал я, неестественно растягивая слова и всем видом демонстрируя отсутствие интереса к тому, что произношу, – я коллекционирую такие работы. Собираю картины, так сказать, малоизвестных художников...».

«Она вовсе не художник! – поспешно ответил он. – Она... она просто больной человек. Только и всего» – «Могу ли я попросить вас продать мне эту картину? И я бы с удовольствием посмотрел другие ее работы, – дочери вашего друга?».

На последние мои слова директор среагировал весьма своеобразно: он вдруг совсем по-женски ойкнул и забавно прикрыл рот рукой. Я с интересом стал ждать продолжения.

Директор медленно встал с кресла и начал механически прохаживаться по своему небольшому кабинету из одного угла в другой. Я молчал, следя за его перемещениями по комнате. Так продолжалось несколько минут. Я подумал, что он, вероятно, забыл о моем присутствии, и слегка кашлянул.

Директор прекратил ходить и снова сел передо мной. «Так это вы...» – проговорил он, глядя на меня так, словно я вдруг превратился в нечто необыкновенное. Он немного помолчал и снова повторил как окончательный вердикт: «Значит, это вы...».

«Простите, – осмелился я. – Не совсем понимаю, что вы имеете в виду...». Все эти странности начали порядком раздражать меня. Я решил уехать из этого городка завтра же утром и даже привстал, словно собираясь сесть в поезд прямо сейчас.

Директор, заметив мое движение, обеспокоенно вскочил: «Простите меня за несколько странное поведение... Все это долго объяснять. Да и вам, наверное, незачем... Незачем знать всё. А что касается картины – примите ее в подарок на память о посещении нашего города». Я поблагодарил его и немедленно вышел из кабинета. На душе было как-то неуютно. Решение уехать завтра же утром превратилось в

нестерпимое желание.

[...]

Заканчивался второй день моего пребывания в городке. Я спустился в ресторан, чтобы поужинать. Картину уже успели снять, заменив ее на какую-то дешевую репродукцию.

Я быстро справился с тем, что принес знакомый официант в потертом костюме, и затем поднялся к себе в номер. Закрыв дверь, я лег на неразобранную кровать и постарался заснуть.

Промучившись с час, я понял, что сна придется ждать долго. Я включил настольную лампу и решил использовать свое старое испытанное средство от бессонницы – немного пожонглировать. Обычно уже через полчаса утомление от этого занятия переходило в долгожданный сон. Небольшой футляр с яркими пластмассовыми шариками всегда был со мной. Это то немногое, что я позволил взять себе в качестве багажа. В остальном я надеялся на себя и на скопленную сумму денег в кармане.

Шарики напоминали те, которые применяются при игре в пинг-понг, но отличались от последних размером (не больше копеечной монеты). В футляре их помещалось около тридцати. Я высыпал их все на кровать и испытал давно забытое чувство удовольствия от предстоящего любимого дела. Работа в цирке основательно притупила во мне радость от жонглирования. Сейчас это чувство начало постепенно ко мне возвращаться, благодаря чему все негативные эмоции, скопившиеся у меня за последнее время, бесследно исчезли. Я ощутил себя полным необыкновенной энергии и силы. Шары порхали под потолком, словно испуганные бабочки, складываясь в различные, порой неожиданные для меня самого фигуры. Скорость перемещения шариков была столь велика, что невозможно было уловить глазом, в какой из моментов одна фигура претекала в другую.

Я наслаждался представлением, сожалея, что единственный его зритель – я сам. Уже ощущая некоторое утомление, я решил встать, чтобы сменить умственное напряжение физическим (до этого я лежал на спине, наблюдая за бабочками-шариками). Свесив ноги с кровати, я оглядел комнату, освещенную неярким кругом настольной лампы, и – застыл в изумлении. Еще раньше мне показалось, что потолок, под которым летали шарики, немного приблизился. Посчитав это результатом излишнего напряжения, я продолжил «представление».

Осмотр комнаты с высоты висящей недалеко от пола кровати преподнес мне массу сюрпризов: казалось, что в моем номере не было ни единого предмета, который бы не оторвался от своего привычного места и не повис в воздухе, словно потеряв вес. Происходящее в комнате

напомнило мне телевизионные поздравления с Новым годом с борта космической станции, – с детства помню эти улыбающиеся лица парящих в невесомости космонавтов...

Я спрыгнул с кровати, чтобы удостовериться, что всё происходит именно так, как мне представляется. Включив большой свет, я увидел проплывающие мимо карандаши, листки бумаги; около двери, нелепо перевернувшись, застыл в воздухе стул. Даже тяжелый платяной шкаф, который был явно старше меня по возрасту, оторвался от линолеума и, слегка покачиваясь, шуршал задней стенкой о выцветшие обои.

Радостное чувство от новых открытий овладело мною. В то же время где-то в подсознании зашевелился страх. Дело в том, что, жонглируя легкими шариками, я всегда мог контролировать каждое их движение: я точно знал, что, когда я выпущу шары из поля своего внимания, они безвольно упадут вниз, будто птицы, у которых налету вырвали жизнь из тела. Именно поэтому во время представлений в цирке мне нельзя было отвлекаться ни на секунду: только таким образом можно было заставить всю композицию плавно опускаться вниз. В ином случае всё поднятое мной в воздух грозило рухнуть из-под купола на головы зрителей.

Сейчас же, несмотря на то, что я давно отвлекся и от шаров и от того внутреннего сосредоточения, которое позволяло мне двигать предметы, шары, как и всё остальное в комнате, продолжали свое неспешное движение в воздухе.

Понаблюдав за летающими предметами еще несколько минут, я окончательно устал и решил сесть. На парящую кровать садиться не хотелось и, подойдя к стулу, я попробовал опустить его с небес на землю. Не тут-то было! Упрямый стул при соприкосновении с полом спешил снова от него оторваться и, медленно покачиваясь, принимал свою нелепую позу ножками вверх.

Не зная, что с этим делать, я сел на пол. В это самое мгновение в замочной скважине раздалось два уверенных щелчка, дверь номера распахнулась, и в комнату вошел человек.

[...]

Директор, стоя в дверях, медленно рассматривал происходящее в комнате. В руках он держал нечто продолговатое, напоминающее крышку сундука. Сидя на полу, я следил за его взглядом. Вещи,двигающиеся по комнате, стали – пусть с трудом – вспоминать о гравитации. Вот шумно, как вздох облегчения, опустился на линолеум платяной шкаф, за ним последовала кровать, на которую один за другим начали пикировать расшалившиеся бабочки-шарики. Рядом со мной свалился стул. Я, не вставая с пола, придал ему традиционное положение ножками вниз.

Только кусочки бумаги долго еще не хотели успокаиваться и продолжали шуршать о воздух комнаты даже во время нашего разговора с вошедшим.

До того как произнести первые слова, директор ресторана двинулся ко мне и, нагнувшись, вручил мне вещь, похожую на крышку сундука. Это оказалась большая, вставленная в роскошную раму картина, написанная маслом на холсте. Чтобы хорошо рассмотреть ее, я поставил картину на пол, а сам встал перед ней на колени.

Несмотря на мою готовность ко всему, изображенное на холсте, потрясло меня так, что я не мог вымолвить ни слова несколько минут.

На картине было изображено, – конечно, с тем неповторимым оттенком, который придает действительности рука любого настоящего художника, – ровно то, что я наблюдал какие-то секунды назад. Была нарисована комната моего номера с висящими в воздухе предметами. Недалеко от кровати – потерянная сутулая фигура человека, сидящего на полу и смотрящего в сторону, на двери. В дверях стоял человек, держащий в руках темный продолговатый предмет, похожий на крышку.

Потрясенный, чувствуя себя так, словно что-то страшно тяжелое придавило меня сверху, я отставил картину в сторону и пошел к окну. Смотря на черный город с редкими, размазанными желтыми пятнами – фонарями, я процедил сквозь зубы: «Пожалуйста, расскажите мне всё, иначе я просто свихнусь» – «Конечно, конечно, за этим я сюда и пришел», – ответил он и сел на стул. Его неспешный голос немного успокоил меня. Я стоял к нему вполборота, лицом к окну во время почти всего его рассказа, однако его это не смущало. Видимо, он, в отличие от меня, уже принял всё происходящее как должное. В душе я даже немного завидовал его умиротворенности.

«Если позволите, я не буду сдерживать себя в деталях. Все-таки этого момента я давно ждал. И не только я. У вас есть время и желание выслушать меня?» – начал он не торопясь – так, будто пересказывал слова давно подготовленной, много раз сыгранной роли. Я кивнул, не поворачиваясь в его сторону. В ответ ощутил, что он улыбнулся.

«В этот город я приехал семь лет назад. Мне было тогда около тридцати. Родственников и знакомых у меня здесь не было, но зато имелся кое-какой опыт в бизнесе и небольшие сбережения. Как видите, этого вполне хватило, чтобы устроиться... Впрочем, это только предисловие. По образованию я, как ни странно, культуролог. Мог бы, кстати, даже преподавать в университете! Впрочем, кому это нужно...» – он засмеялся, но прервал сам себя и извинился. «Так вот, – продолжил он, – ресторанный бизнес я довольно быстро наладил на более-менее автономное существование, то есть имел возможность отдавать ему минимальное

количество времени при сносном доходе. Городок, как видите, у нас небольшой, приезжих мало, в основном, приходится жить за счет местной публики, которую с трудом, но заманить сюда еще возможно. Есть здесь и несколько продуктовых магазинов, принадлежащих мне... Впрочем, извините, я снова отвлекся... Однако эти подробности необходимы, чтобы понять... дальнейшее.

Бизнесмен никогда не мог убить во мне любителя и ценителя культуры. Кроме того, я страстный коллекционер – знаете ли, порой старинная китайская ваза или редкая книга вызывает во мне больший восторг, чем у иного молодца – хорошенькая женщина.

Приблизительно года через два-три после моего приезда я познакомился с одной девушкой... Мне было с ней как-то просто и – одновременно – необычайно интересно...

У моего друга, – ну, скорее, партнера по ресторанному бизнесу, – был какой-то очередной праздник, наверное, чей-нибудь день рождения. Он старше меня на двадцать лет, но в наших совместных делах такая разница в возрасте только помогала: он опытнее, я – энергичнее...

Так вот: тогда он впервые показал мне коллекцию своих картин. Я об этой коллекции ничего не знал и был приятно удивлен. После осмотра собранных у него дома работ (всего около тридцати) я пришел к выводу, что все они принадлежат руке одного автора, причем из местных. После недолгого словесного поединка с другом (он колебался: говорить мне или нет) я узнал, что художником является его дочь – инвалид по зрению.

Он так и сказал, впервые упомянув о ней при мне: «Моя дочь – инвалид по зрению». В тот раз я ее не увидел и познакомился с Катей позднее. Это совершенно необыкновенное существо. Потом, когда познакомишься с ней поближе, с ее странностью как-то смиряешься. Привыкаешь к этому, что ли?..

Тогда ей было чуть более двадцати. Зрение она потеряла в детстве. О том, как это произошло не любят говорить ни она, ни ее отец. Лишь однажды она упомянула, что это связано с ее погибшей матерью.

Я уже говорил, что мне с ней было всегда как-то легко и просто; она обладает удивительным талантом преображать обыденность во что-то такое... во что-то чудесное. Я помню, как мы с ней в первый раз поцеловались...», – тут он осёкся, зачем-то привстал и снова сел на стул. «Вы, конечно, извините, что я так всё это... пре...преподношу. Но это только потому, что я хочу вам рассказать о Кате. Чтобы вы поняли, какая она. Поверьте, это очень важно для вас. Для нас всех – важно».

Я неопределенно повел плечами в ответ, все еще смотря на ночной город. Он понял это, как знак продолжать.

«Да... Так вот – их дом находится в северной части города: такой двухэтажный, кирпичный, – что-то в стиле барокко, мне всегда их дом напоминал какую-то разросшуюся баню, – впрочем, со вкусом... Я когда один раз при ней сказал, ну, про баню, что их дом – как баня, она ужасно смеялась...» – в этом месте его голос дрогнул, и дальше он продолжал рассказ не совсем в той неторопливой манере, в какой начал разговор. Он слегка стеснялся и перебивал сам себя. Впрочем, ощущение того, что рассказ этот уже не раз произносился и что я – далеко не первый его слушатель, не оставляло меня.

Мне было любопытно.

«Недалеко от их дома был бак, куда свозился мусор из трех-четырех соседних коттеджей. Как-то раз, подходя к их дому, я увидел Катю, которая плыла к баку с какой-то огромной картонной коробкой. Знаете, она никогда не брала с собой палку, – ну, для слепых, – даже если выходила одна в город. И всегда не шла, а плыла – плавно-плавно так ходила... Хотя, может быть, я это так... только мне, быть может, так казалось... Я, конечно, бросился к ней, чтобы помочь. Она узнала меня еще до того, как я произнес что-либо: всегда так узнаёт. Обрадовалась мне и говорит: «Саша, как хорошо, что вы пришли, – она на «вы» меня до сих пор, – как хорошо, что вы пришли! Помогите мне». Я стал помогать. А когда уже свалили коробку в бак, – он почти пустой был, – коробка порвалась и оттуда показалась рама картины. Ее картины. Не помня себя, я кинулся к баку и залез туда с ногами, пытаюсь вытащить почти развалившуюся коробку...

Она так плакала и кричала, пытаюсь остановить меня, что соседи начали выглядывать из окон (отца не было дома, слава Богу, – он тогда по делам уехал в Москву).

Начал накрапывать мелкий дождь, перешедший в затяжной ливень. Мы все промокли, измазались... Что только она тогда мне ни наговорила – обычно такая кроткая и мягкая, она проклинала меня и пару раз ударила – туда, куда смогла попасть. Однако картины я спас. Я сопровождал ее домой, и тогда впервые стал свидетелем ее истерики, которую она не могла прекратить минут тридцать.

Когда она немного успокоилась и пришла в себя, я начал собираться. «Я всё равно их выброшу или сожгу! Я их ненавижу и вас ненавижу, всех вас терпеть не могу!». Она это говорила, едва присев на самый край кресла, и была так прекрасна, что я не удержался и поцеловал ее. После этого она затихла и не сказала ни слова до тех пор, пока я не стал закрывать за собой дверь: «Саша, обязательно приходите еще! Завтра же приходите! Слышите?». Я глупо кивнул в ответ и от радости кубарем скатился с

крыльца, держа в руках перевязанную и размокшую коробку с картинами...

Эти картины так и остались у меня. Ее отец, узнав обо всём, не возражал против этого. Однако с того дня наша дружба с ним начала потихоньку угасать. Он, конечно, отлично понимал, зачем я столь часто хожу к ним домой, и не одобрял этого.

Однажды он позвонил мне поздно вечером и сказал: «Ты же знаешь, она – ненормальная. И инвалид. Она – беспомощный ребенок, место которому – рядом со мной. Зачем тебе эта обуза?».

Дурак! Я ее любил. Я с ума сходил по ней... Да и непонятно, кто из нас был более беспомощен: она, я или ее отец.

На следующий день после случая с коробкой я пришел к ней, и мы впервые заговорили о её работах. Я давно хотел затеять этот разговор, но она всегда сводила на нет мои попытки поговорить о её творчестве. Когда я произносил при ней: «Твое творчество», – она раздражалась и начинала щуриться слепыми глазами в мою сторону. Я чувствовал себя неуютно под этим внимательным взглядом слепых глаз. «Это не мое. И это не творчество», – на этом она замолкала, и я переводил разговор на другую тему.

Отец должен был вернуться только на следующий день, и мы с ней тот вечер провели одни. Она была необычайно серьезна и почти не шутила со мной, как то было в обычае между нами.

О картинах она заговорила сама, когда я разливал чай в небольшие чашки, стоявшие на журнальном столике. Я обожал этот столик: он был так мал, что я мог пить чай за ним, усевшись на мягкий ковёр перед ее креслом – совсем рядом с ее ногами...

Мне кажется, она никогда не знала и не знает, как хороша собой. Как она умудрялась, ничего не видя, следить за своими тонкими длинными волосами – так, что они никогда, даже с утра, не казались не ухоженными – мне совершенно не понятно. Да что там говорить: как она могла писать свои картины, будучи стопроцентно слепа на оба глаза, – вот что должно было удивлять! Но я тогда не столько удивлялся, сколько любил. Знаете, наверное, так любят только какие-нибудь восемнадцатилетние мальчишки – нежно, трепетно и крайне неумело.

«Саша, ты видел почти всё написанное мной. Что ты можешь сказать о картинах?». Я застыл с чайником в руках и не сразу ответил. «Как человек немного разбирающийся в этом...» – «Нет, – перебила она меня с нетерпением и даже раздраженно, – что ты вообще можешь сказать о них? Оценивать их с точки зрения художественной, эстетической и т.п. – бессмысленно. Это не искусство». Я был несколько озадачен. В глубине

души я понимал, что она права: мне самому задолго до этого разговора приходилось ловить себя на мысли, что картины Кати – это всего лишь творчество глубинки. Так сказать – для себя и для ближайшего круга друзей. Только в таком ключе я и воспринимал эти зарисовки нашего городка с размытыми и однообразными фигурами его обитателей. Главным для меня были вовсе не картины, а их автор – самое необычное и притягательное создание во всей Вселенной, – так мне представлялось в то время. Я и сейчас, наверное, считаю также. Просто сейчас всё как-то непоправимо изменилось...

Поскольку я не спешил с ответом, она снова спросила: «Что ты видел на картинах?» – «Ну, в основном, – зарисовки различных мест нашего города: окраины, вокзал, больница...» – «И всё?! – она была в отчаянии. – Это всё, что ты смог заметить? Культуролог чёртов!..» – он остановил на секунду свой рассказ и сделал какой-то жест: я это не увидел, а, скорее, почувствовал.

Он продолжил: «Так и сказала: “Чёртов культуролог!” – я помню, что сильно расстроился из-за этих ее слов, сказанных в раздражении. Теперь я и сам понимаю, как был слеп: да-да, по-настоящему был слеп я, а не она. Она-то всё уже тогда видела... как будет...».

Директор вдруг снова прервался; по скрипу стула я понял, что он встал. Я продолжал стоять перед окном, рассматривая уже начинающую становиться серой предутреннюю темноту городка.

Старый линолеум зашумел под тяжестью шагов: директор приблизился ко мне, и я услышал его дыхание совсем рядом – за своим левым плечом.

Какое-то отдаленное чувство опасности охватило меня: иногда со мной такое случалось в цирке, когда я видел, что наши акробаты – ради забавы и куража – поднимались под самый купол без страховки.

Он стоял за плечом так тихо, что я перестал слышать его дыхание. Томительная тишина заполнила номер почти на минуту. Наконец я услышал его прерывающийся шепот за спиной: «Послушайте, это не ваш город, совсем не ваш. И она – не ваша! Уезжайте прямо сейчас, прямо сейчас собирайте вещи и – уезжайте. Хотите я заплачу? Сколько вам надо, чтобы вы уехали? Прямо сейчас – уехали?».

Я молчал, не поворачиваясь к нему лицом. Не дождавшись моего ответа, он поплелся к стулу и опустился на него, как приговоренный. Я услышал, как он пробормотал: «Надеюсь, хоть это она не нарисовала...». Затем, уже обращаясь ко мне, он сказал:

«Извините меня: это, должно быть, нервы. Когда я узнал вас, я ужасно разволновался. Мы... я... никто никогда не воспринимал всерьез всё это.

А тут – вы... Чёрт!.. Еще раз извините, пожалуйста. Я вас, вероятно, утомил. Я скоро завершу рассказ – опишу самое главное, минуя все эти дурацкие подробности, никого, кроме меня, не волнующие...».

Я повернулся к нему лицом и кивнул, приглашая продолжить рассказ. Тут мой взгляд упал на его руки: в правой был нож. Он, смутясь, и, кажется, разозлившись на самого себя, тут же спрятал его в карман пиджака.

Всё происходящее – в том числе его рассказ – страшно утомило меня. Отсутствие сна после жонглирования отняло последние силы. Я подошел к кровати и почти рухнул на неё. Стул с директором, внимательно смотревшим на меня, стоял в метре от кровати. Видимо, заметив мою усталость, он еще раз спросил, могу ли я его слушать дальше. «Продолжайте», – махнул я рукой.

Внутри не было никакого страха за собственную жизнь: вся эта ситуация вдруг вызвала во мне невыносимое ощущение скуки и неправильности всего происходящего. Однако думать о том, что именно было неправильно, мне не хотелось: душу и тело сковала чудовищная неповоротливость и лень. Впервые мне по-настоящему расхотелось жить.

«В тот вечер она много рассказывала о себе, но больше всего – о своих картинах. Каждая из них появлялась после сновидения или же – после «вспышки», – так она называла свои видения наяву.

Обычные сны ей снились довольно редко, – причем, в основном, они протекали в «слепом» варианте, то есть снились либо звуки, либо некоторый, как она выражалась, «сплав осязания-обоняния-звуков». Такие сновидения она запоминала плохо.

Зато другие сны – яркие, образные и необыкновенно реальные – она запоминала до мельчайших подробностей. В своих картинах она изображала как бы застывшие образы-кадры из этих необычайно рельефных снов. Помню ее слова: «Мне приходится рисовать смутные образы, застывшие силуэты, которые так живы в снах и так мертвы на холсте». Рисовать вслепую ее научил один мастер – из местных, умерший лет пять-шесть назад. Говорят, Смирнов даже приплачивал ему за обучение дочери. Но это – так, – слухи. Технику такого рисунка я знаю плохо, и, может быть, поэтому мне до сих пор ее картины представляются чудом.

Были моменты, когда мне казалось, что на самом деле Катя только притворяется слепой. Я всегда чувствовал непонятный мне самому страх от такого предположения. Страх от самой этой возможности...

В тот вечер она рассказала и эту свою историю про мать. Надо признаться, достаточно жутковатую историю.

Кате было около шести лет, когда ее мать скончалась, – не помню,

наверно, от рака. Это была настоящая трагедия и для Смирнова, и для его дочери. Он, кстати, после случившегося на других женщин даже смотреть отказывался. Правда, мне как-то рассказывали о его давнем романе в столице, но это сведения старые да и мало достоверные.

Катя, несмотря на возраст, была вовсе убита произошедшим. Через несколько месяцев пришлось обратиться к психиатру, поскольку время только обостряло горе девочки. Отец не на шутку испугался потерять свое единственное сокровище – жизнь дочки. Смирнов приглашал даже нескольких известных врачей из соседних крупных городов, ее пытались лечить в том числе и медикаментозно, но эффект был нулевой.

Вот тогда и случилась еще одна трагедия. Сам Смирнов – по крайней мере о нем так говорят большинство знающих его жителей города – считает, что беда случилась из-за какого-то неудачного сочетания лекарств, которыми пичкали Катю, пытаясь вывести ее из редкого для этого возраста психологического кризиса.

Катя уверена в совершенно другой версии событий.

Однажды ночью ей (тогда еще зрячей) приснилась умершая мать. Во сне мать позвала Катю с собой. Девочка отказалась. Тогда мать схватила ее за руку и потащила за собой. Девочкой овладел почти панический ужас, и она стала сопротивляться, кричать, биться. Вероятно, тогда с ней случилась первая истерика, которая потом регулярно мучила ее и окружающих ее людей все последующие годы. По всей видимости, Катя кричала не только во сне, потому что, проснувшись, она увидела рядом встревоженного отца.

Сон о зовущей с собой матери начал повторяться с пугающей частотой. Катя рассказала об этом отцу, и он, окончательно потеряв покой, не оставлял дочь ни на минуту – ни днем, ни ночью.

Примерно через две недели Катя снова увидела во сне мать. Сюжет был почти тот же, что и прежде: мать пыталась ее увести, Катя сопротивлялась (почему ее охватывал во сне такой ужас перед матерью, она не смогла мне объяснить). Неожиданной была концовка этого последнего сна: предыдущие сновидения заканчивались тем, что Катя просыпалась от страха, так и не увидев, чем завершилась ее борьба с матерью. В этот раз было по-другому: мать вдруг перестала тащить дочь за собой, повернулась к ней и закрыла ей глаза рукой. Стало темно.

Проснувшись, Катя почувствовала боль в глазах. Смирнов тут же отвез ее в больницу, но окулисты после обследования заявили, что глаза абсолютно здоровы. Через две недели девочка полностью ослепла...».

«Послушайте, – прервал его я. – Честно говоря, я жутко устал. Я не в силах сегодня продолжать слушать. Может, мы встретимся с вами как-

нибудь еще раз?»).

Он помолчал, затем обхватил голову руками и пробормотал что-то неразборчивое. Потом встал со стула и, не прощаясь, вышел из номера.

Я не нашел в себе сил встать и запереть за ним дверь. Уже засыпая, я все ещё слышал звук его удаляющихся шагов. Последней была мысль о необходимости как можно скорее покинуть этот неудобный городишко.

## **6. В тюрьме**

Проснулся я поздно, уже за полдень. Умывшись, спустился в ресторан, чтобы позавтракать. Я едва пригубил кофе, как вдруг почувствовал, что меня кто-то настойчиво трогает за плечо.

Я повернулся и увидел перед собой мужчину средних лет с лицом воспитателя детского сада: улыбчивым и ласковым. В двух шагах от него стоял еще один «воспитатель» – в помятой кожаной куртке и начищенных туфлях.

«В этом городе принято прерывать людей во время завтрака?» – осведомился я. «Нет, что вы, – залюбезничал тот, что трогал меня за плечо. – Мы вас подождем за соседнем столиком». После этого он ненавязчиво сунул мне в лицо милицмейское удостоверение и пристроился с приятелем неподалеку.

Завтрак я доедал, не торопясь и раздумывая, что делать дальше. Возможные причины повышенного интереса ко мне со стороны местной милиции могли быть самыми различными. Особенно меня беспокоил случай в забегаловке: сколько я ни пытал память в тщетных усилиях вспомнить, что же там произошло, – все было напрасно. Я доел, расплатился и подошел к «воспитателям».

«Вам нужно проехать с нами в отделение», – совсем не по-детсадовски доложил мне товарищ первого, того, что любезничал со мной раньше. Я кивнул. «Вам бы лучше вещи свои это... тоже бы», – засуетился первый. Я указал ему на футляр и сказал, что все самое ценное со мной. Глаза второго сразу стали строгими. После этих моих слов он гораздо пристальнее следил за футляром, чем за мной.

Мы направились к выходу. Ресторан был совершенно пуст: даже официант в потертом костюме бесследно исчез где-то в глубинах подсобных помещений.

Меня посадили в самый стандартный «уазик». «Странно, что они до сих не спросили у меня паспорт», – подумалось мне. Напарник в помятой кожаной куртке через секунду после этой моей мысли обратился ко мне с вопросом о документах. «Надо крепче держать свои мысли в узде», – сказал я себе. Сколько раз замечал: стоит мне только потерять над собой

контроль, как мои мысли тут же бессознательно ловятся и воспроизводятся окружающими.

Единственное, что меня по-настоящему беспокоило в данную минуту, так это вероятность возвращения в цирк. «Ни в коем случае нельзя допустить этого». Я неожиданно почувствовал, что внутри начинает образовываться что-то очень нехорошее. Перед глазами всплыл образ сиреновой змеи, увиденной мною в поезде, – той, что погубила сантехника. Слава Богу, усилием воли я сумел изгнать змею с мысленного горизонта.

«Значит, Аркадий Васильевич Налимов», – почти нараспев продекламировал написанное в моем паспорте милиционер с ласковым лицом. Я кивнул. Мне никогда не нравилась фамилия моего отчима.

Дальше ехали молча.

В отделении мне задали несколько вопросов, касающихся того, как я попал в городок. Историю с сантехником (конечно, в самых общих словах и без подробностей о девочке) они выслушали с большим недоверием.

«Почему я собственно задержан?» – осмелился я спросить под конец своего краткого рассказа. Ласковый внимательно посмотрел на меня и сказал: «Три дня назад недалеко от городского вокзала произошел взрыв... – тут он запнулся, потер подбородок и продолжил, – или что-то очень похожее на взрыв... В результате этого... взрыва погибло трое человек. У нас есть свидетели, что именно вы были там в момент обрушения здания. Вы вошли туда, а когда вышли – закусочная разлетелась на куски».

Мое сердце остановилось, и к горлу подкатил никак не проглатываемый ком. Итак, я – убийца. Я – убийца трех человек. С осознанием этого мне предстояло жить далее.

[...]

«На куски...» – автоматически повторил я. «Вот именно! – почему-то обрадовался коллега «воспитателя», словно я уже признался во всем, в чем должен был признаться. – На куски! Как разбитая ваза – была закусочная и нету!». Все в отделении (а нас внимательно слушали еще двое милиционеров, т.е. всего четверо) оживились, будто это событие заботило их все последние три дня.

Я понял, что всё сказанное мною дальше только навредит мне. И я замолчал, сказав, что требую адвоката. Они задали мне еще пару вопросов, но, видя, что я не отвечаю, увели меня в местную «кутузку». Сегодня, судя по всему, я проведу ночь именно здесь.

«Поймите, – сказал ласковый, запирая за мной решетчатую дверь, – мы вас ни в чем не обвиняем. Однако вы – единственный, кто может нам

объяснить, что случилось три дня назад в той закуской. Подумайте об этом!».

Поведение милиционеров насторожило меня. «Во всем этом есть что-то от игры, – подумалось мне. – Или я уже вижу игру там, где следует видеть только действительность, реальность?».

В кутузке я был один. Было ли это нормальным или нет, я не знал, так как не имел счастья бывать ранее в подобных местах.

Я сел на какую-то зеленоватую лавку и стал размышлять о том, что делать далее. Как назло, голова была пуста и напоминала по ощущениям сырой подвал в заброшенном доме. Думать не хотелось.

Сначала где-то неподалеку раздавались голоса милиционеров, потом установилась могильная тишина. Слышался только звук капающей воды в невидимом умывальнике. Я начал впадать в приятную полудрему. Мысль об убитых мною людях спряталась куда-то в подсознание и не спешила выходить на поверхность.

Потом я, вероятно, заснул.

## 7. Сон

Даже сейчас я не могу уверенно сказать, что всё увиденное мною в кутузке было только сновидением. Но проверить так ли это или нет, я до сих пор не смог и навряд ли когда-нибудь смогу.

Через неопределенное время я услышал легкие шаги. Коридорный пол был покрыт неприятно-серой плиткой, ходившей ходуном при малейшем движении. Каждый шаг по этому полу сопровождался пронзительно хлюпающими звуками. По крайней мере так мне показалось, когда я шел сюда с двумя соглядателями в погонах.

Тот, кто сейчас приближался ко мне, был либо почти невесом, либо знал места на полу, по которым можно идти беззвучно.

Стараясь не делать резких движений, я приоткрыл глаза и вытянул шею в попытке с лавки увидеть неожиданного гостя. Несмотря на смутный свет, льющийся из далекого и грязного коридорного окна, я сумел разглядеть идущую ко мне женщину.

Она была одета в какое-то легкое летнее платье желтоватого цвета, и почему-то напомнила мне смешного утёнка с детской полузабытой открытки. В ее медленной походке и длинных волосах было нечто от плывущей по воде птицы. В левой руке она держала черный продолговатый предмет.

Подойдя к двери моей кутузки, она опустила пальцы правой руки на решетку и не спеша начала ощупывать холодные прутья. Ее невидящие глаза смотрели мне в лицо.

Никакого страха или удивления я не испытывал. Была только некая слабость во всем теле: не хотелось ни говорить, ни двигаться.

Я стал бороться с этой скованностью, и мне удалось приподняться ей навстречу. Сделал я это крайне неуклюже, пошатываясь, словно дрессированный медведь из нашего цирка, – был такой номер, в котором мишка изображал подвыпившего мужа, пришедшего домой под утро.

Я заметил легкую улыбку, промелькнувшую у нее на лице. Женщина протянула мне навстречу свою руку с черным предметом, замеченным мною издалека. Это оказался мой футляр с шариками, недавно сданный милиционерам под надежную охрану.

Увидев его, я почувствовал прилив сил и так обрадовался, будто не жонглировал уже лет десять. Я взял футляр из ее рук и тут же открыл его, высыпав шарики вниз. Не успев прикоснуться к полу, они порхнули вверх и окружили гостью разноцветным веселым хороводом. Моя радость словно передалась всему окружающему: шарики-бабочки садились ей на плечи, кружили вокруг головы, шуршали о складки платья.

Сначала Катя пыталась спрятать улыбку и, явно сдерживая себя, только слегка заигрывала с летающими вокруг нее бабочками. Однако, когда (неожиданно для меня самого) с места сорвалась зеленая лавка, издавшая страшный скрежет, – до этого она была намертво привинчена к полу, – женщина не выдержала и звонко расхохоталась на весь коридор.

Я не унимался. Разноцветные бабочки облепили желтое платье моей гостьи, как большой цветок, а потом вместе с ней порхнули вверх. Я закружил всё в немыслимый хоровод: развевающиеся волосы Кати, вырванные с цементом решетки, лавку, куски стен и, кажется, себя – вместе со всем остальным. Кружась, она продолжала весело и по-детски смеяться. Невероятное, ни с чем не сравнимое ощущение счастья охватило меня, поглотило полностью, без остатка. Именно тогда я познал радость отдавать, радость любить, ничего не требуя взамен.

К крутящемуся разноцветному колесу присоединилось все больше и больше прилетающих откуда-то предметов. Я понял, что уже давно не контролирую происходящее, но совершенно не тревожился. Я знал главное: вреда смеющемуся рядом со мной утенку я никогда не причиню. И моя беззаботная умиротворенность и любовь контролировали кружащийся хаос предметов гораздо лучше, чем натренированная ловкость жонглера.

Потом сознание оставило меня.

[...]

## 8. Дорога

Я ехал на заднем сидении автомобиля, припечатавшись к кожаной спинке так надежно, будто находился здесь уже не один час. За рулем сидел мужчина с короткой стрижкой и массивным затылком. Я сразу же узнал директора ресторана.

Заметив, что я очнулся, он изобразил улыбку и спросил, как я себя чувствую. «Неплохо», – ответил я и стал массировать затекшую шею. Директор замолчал и продолжал сосредоточенно смотреть на вечернее шоссе. Судя по всему, мы были далеко за пределами города. Ни о чем спрашивать не хотелось. Я закрыл глаза, и мы ехали минут двадцать под усыпляющий гул двигателя.

«Я везу вас на центральный вокзал соседнего с нами города, – сообщил мне наконец директор. – Там вы сможете сесть на поезд и уехать в любом удобном для вас направлении». Я открыл глаза и кивнул. Сейчас мне хотелось со всем соглашаться – с любым мнением и с любой ситуацией. На душе было легко и прозрачно. Он повернулся ко мне, держась за руль левой рукой, и передал что-то завернутое в пакет: «Здесь ваши новые документы на другое имя, а также деньги, – не беспокойтесь, в основном, деньги, принадлежащие вам».

Я молча взял пакет и засунул в карман куртки. Совсем стемнело. За окном замелькали огни какого-то крупного города.

Спустя полчаса мы подъехали к большому зданию вокзала.

«Берите билет прямо сейчас – на какой-нибудь ближайший по времени поезд, который увез бы вас подальше от этих мест», – сказал мне директор, заглушив мотор.

Когда я почти вылез из машины, он повернулся и положил мне руку на плечо: «Аркадий... Так ведь вас, кажется, зовут? Вы хорошо понимаете, что в наш город вам ни в коем случае нельзя возвращаться. Свою... свою роль вы сыграли. Все произошло именно так, как она говорила. Точнее – рисовала».

«Катя приходила ко мне?» – спросил я почти машинально. Он отрицательно покачал головой: «Нет. Я не знаю. Сам до конца не понимаю смысла всего произошедшего. Но главное вы сделали. Вы сделали очень хорошее дело – и для себя, и для Кати».

Я пожал плечами: «Я не понимаю вас. И плохо помню все произошедшее». Он махнул рукой: «Может, оно и к лучшему. Уходите. Уезжайте».

Я захлопнул дверку автомобиля и пошел к вокзалу. В руках у меня был только футляр с шариками, который я нащупал рядом с собой на

сиденье автомобиля, как только очнулся, – еще не осознав, что куда-то еду.

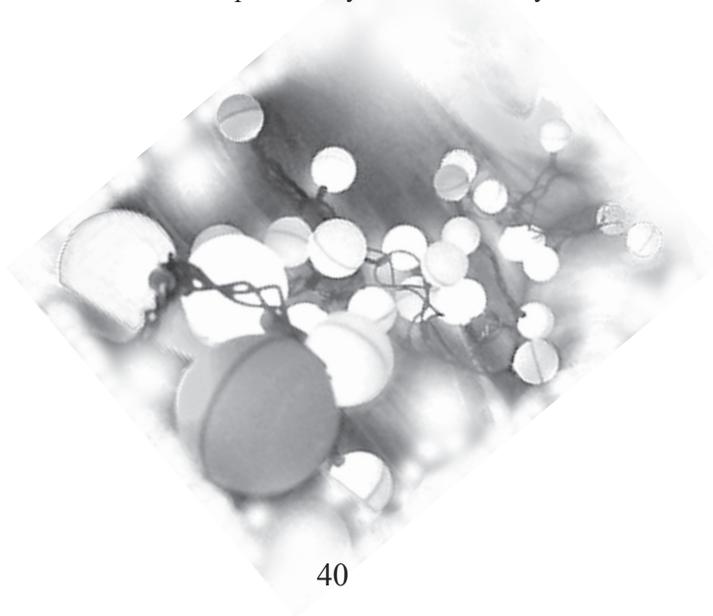
Не оборачиваясь, я следил за звуком удаляющейся машины директора. Через некоторое время я услышал визг резко разворачивающегося автомобиля и повернулся ему навстречу. Директор остановил машину недалеко от меня и опустил окно. Мы смотрели друг на друга на расстоянии нескольких метров.

«Я хотел сказать вам спасибо!» – проговорил он и вдруг улыбнулся счастливой улыбкой. Затем он высунул голову в открытое окно и почти шепотом сообщил мне: «Она научилась видеть, Аркадий! Вы слышите? Она знала это. Ждала вас!» – он вдруг побледнел, убрал голову из окна и резко ударил по газу. Автомобиль умчался, повизгивая на поворотах.

Я снова двинулся в сторону большого и светлого здания вокзала. Было легко на душе. Хотелось идти долго-долго и напевать что-то непритязательное, детское. Я знал, что мне предстоит длительная работа над собой. Я еще многого не умею. Я по-прежнему еще слишком серьезно отношусь к себе и не умею играть с окружающим миром просто и без претензий.

Но главному я, кажется, научился: я открыл в себе способность любить. И это открытие было для меня гораздо важнее, чем то, которое я сделал когда-то в детстве, следя за растворяющимися в облаках шариками, наполненными гелием.

Вокзал встретил меня встревоженным гулом сотен уезжающих и приезжающих людей. И я впервые почувствовал себя уютно с ними.



# Эксперимент

В моем распоряжении – два документа, и оба – странные: именно поэтому я достаточно долго колебался, прежде чем опубликовать их...

Первый документ – это неоконченная художественная зарисовка (точнее, наверное, «рассказ»), автор которой – мой друг культуролог Петр Ребов. Он иногда «баловался» такого рода вещами, разбавляющими, по его словам, «сухой научный языковой опыт». Второй документ – это фрагменты его же дневника самонаблюдений, который Ребов вел во время своего эксперимента. Кажется, и этот художественный отрывок, и выбранные мною фрагменты дневника хорошо дополняют друг друга – ровно настолько, чтобы одно поясняло смысл другого.

Отрывок написан Ребовым от третьего лица, хотя он неплохо писал и от «я»... По-моему, он дописывал его последние строки уже на даче. Логика здесь именно такая: отрывок плавно перетекает в дневник. По крайней мере, в ноутбуке, найденном на даче, файл с этим отрывком находился в одной папке с файлом дневника (последний писался и на бумаге – общей тетради в клетку, обнаруженной там же, на даче). В общем-то, это всё, что я могу более-менее осмысленно сообщить. Далее – просто публикую оба упомянутых документа, а решать и ставить какие-то окончательные оценки – уж точно не мне...

*А. Кробелев, лаборант кафедры ...ского ун-та*

\*\*\*

*(«Художественный» отрывок; наименование этого файла, данное самим Ребовым, – «Наброски3»)*

– Помилуйте, сновидения – это достаточно банальная тема для диссертации, – Данила Сергеевич закашлялся и, сняв толстые очки в светло-коричневой оправе, стал привычно вытирать их носовым платком, услужливо торчавшим из верхнего кармана его пиджака. – Вы хоть представляете, сколько уже об этом написано, – причем с точки зрения самых разнообразных научных дисциплин – и гуманитарных и не очень? Море, невысказанное количество работ!.. Везде – сны, сновидения, снова сны! Неужто нельзя найти объект исследования, так скажем, посвежее?

– Но Данила Сергеевич, – Ребов даже побледнел от волнения. – Ведь... Ведь я – не просто сны и сновидения, – там очень конкретный аспект....

Богородцев посмотрел на упрямый лоб Ребова и в который раз

---

*Впервые опубликовано: Иная реальность: Интернет-журнал. 2010. №2 (№3). [http://community.livejournal.com/korkin\\_dreams/13908.html](http://community.livejournal.com/korkin_dreams/13908.html)*

насмешливо покачал головой:

– Вижу: вы парень настойчивый. Может, оно и к лучшему. Давайте остановимся на следующем: я жду вас у себя ровно через месяц с готовым планом работы и первыми набросками нескольких параграфов. Принесете – будет конкретный предмет для дальнейшего разговора, а на нет – и суда нет: тему в этом случае будем беспощадно корректировать!

От дома профессора Ребов шел счастливый и по-рабочему подтянутый. Итак, у него есть месяц. Легко сказать «план и наброски первых параграфов»! Да как же это можно сделать, если нет еще даже общей концепции, ключевой мысли и идеи, в каком направлении двигаться?

Он должен взорвать эту свою обыденность, преодолеть косность повседневной рутины – только тогда можно будет надеяться на движение вперед, на долгожданное открытие!..

Под ногами шуршали первые желтые листья; серые краски осеннего вечера быстро потускнели и превратились в расплывчатую темноту плохо освещенного города. Ребов, совсем не думая о дороге, быстро добрался до своей хрущевки и, на ощупь открыв дверь снимаемой квартиры, тут же забылся за экраном компьютера...

Он, конечно, врал себе: идея была. Она вызревала давно, – наверное, еще с детства, когда он, увлеченный книжками типа «Тайна сна» Борбели, неистово пытался понять природу этого удивительного феномена...

Самый страшный день в его жизни случился пятнадцать лет назад: в одно мгновение он лишился практически всех близких и дорогих людей – родителей и брата, попавших в глупейшую аварию: поехали за грибами и... Впрочем, об «умных» авариях и катастрофах ему еще не приходилось слышать.

Роковая поездка произошла, когда Петру исполнилось тринадцать. Его опекунами стали две тётки, которые очень сочувствовали горю мальчика, не замечая, что тем самым только подогревают его замкнутость и стремление к одиночеству.

На самом деле Ребов никогда не считал себя необщительным человеком, а уж тем более никогда не воспринимал и не преподносил себя в роли такого Фауста, «стоящего над толпой». Но таковым, к сожалению, его считали многие другие, что одних пугало, а иных бесило и смешило. Впрочем, у Петра был и свой круг знакомых, которые тянулись к Ребову, находя в нем что-то мистически-притягательное. В основном, это была хиппующая и богемствующая публика, среди которой порой попадались экземпляры, обладавшие редкой способностью «раскошегарить» Петра на получасовой спич.

Вообще, говоря откровенно, Петра считали немного помешанным и за глаза называли «гостем из будущего». Это никого не стесняло: наоборот, быть странным считалось обязательным козырем. Однако ж Петр был странен «до занудности», поскольку ничего, кроме «покойнических снов» его по большому счету не интересовало.

Конечно, Ребов был гораздо шире и сложнее той схемы, которую на него накладывало его окружение. Тем не менее – со стороны оно, как известно, виднее...

В аспирантуру к Богородцеву Ребов пошел целенаправленно, найдя в каких-то написанных «Сергеичем» по лихой молодости статьях некие «схожие со своими идеи». Петр причину своей просьбы о научном руководстве Богородцеву так и озвучил, упомянув о «сходстве идейных позиций». Профессор расхохотался и обещал подумать. А в середине августа отзвонился и попросил «юношу» готовить документы для поступления...

Все эти воспоминания, мысли, образы, о которых рассказано выше, то и дело появлялись и пропадали на мысленном экране Ребова, в то время как он сам смотрел на дисплей компьютера...

– Да, да. Иной аспект... Сны – во многих культурах; их значимость, вещей характер; души умерших, являющихся во снах, – всё это исследовали многие и есть у многих. Но не то всё это, не то! Личного в этих исследованиях нет, личного участия и соучастия! – набирал он в Worde свою сто раз обдуманную мысль.

– А что, что значит это пресловутое «личное соучастие»? Как открыть – только не метафорически, а в действительно – так, чтобы можно было пощупать, измерить, предъявить доказательства, – открыть двери между тем миром и этим?

Конечно, варианты ответов у него были. Он думал над этим неоднократно и постепенно пришел к выводу, что один из радикальных методов – встряска своего повседневного существования. Необходимо поставить организм на грань яви и сна – это единственный путь личного соучастия в иномирных сновидениях.

Самым разумным способом, по его глубокому убеждению, была депривация сна. Опыты, связанные с этим, проводились различными исследователями неоднократно, однако, по мнению Петра, они все были однобоко ориентированы на физиологию и психологию. Его же интересовал, в основном, культурологический аспект.

Целью, которую он достаточно давно сформулировал для себя в качестве главной (имеется в виду не цель научная, а цель и смысл его жизни, – впрочем, границы между этими понятиями были для него аморфны и

подвижны) – определить основные закономерности сновидений об ином мире и контакте с умершими. Он хотел знать об этом всё: структуру, содержание, основные мотивы этих текстов; эмоционально-психологическую подоплеку данных сновидений; причину их возникновения, основные условия, способствующие их появлению и т.п.

Повторюсь, что ничего из этого – ни тему, ни предмет исследования, ни даже расставленные им акценты – нельзя было назвать новым. Новым было само отношение исследователя к этой теме – его можно было бы охарактеризовать, как «глубоко личное» или «крайне заинтересованное». Новым – и в этом Ребову было труднее всего признаться даже самому себе – было то, что его интерес к исследованию феномена иномирных сновидений имел очень конкретную прагматическую цель: попытаться нарушить границы между тем и этим мирами, используя сновидения в качестве средства. А если говорить проще: он хотел вернуть себе возможность общения с близкими и родными людьми.

Как ученый, он понимал абсурдность таких попыток: например, Петр почти с отвращением думал о спиритических сеансах и иже с ними. Спиритизм интересовал его только как любопытный культурный феномен, но не как средство достижения той практической цели, к реализации которой он стремился вот уже полжизни.

Сновидения – совсем другое. В те редкие моменты, когда ему все-таки удавалось во сне увидеть погибших родных (чаще всего, это была мать и брат), он наталкивался на их странное молчание, ускользающие объятия и разговоры ни о чем. Ребова злило, что во сне он почти никогда не осознавал, что имеет дело с умершими: ум словно отключался в эти моменты, и он общался и вел себя с ними так, будто они всё еще были живы. Изредка брат-покойник просил его во сне о каких-то мелочах: достать удочку, пиво; один раз попросил принести арбуз. Не обремененный суевериями, Петр тем менее преодолевал стыд и в этих случаях дарил просимое кому-нибудь из знакомых или просто подавал нищим на улицах. Бывало, брат и мать благодарили его в сновидениях за выполненную просьбу.

Но Ребову этого всего было как-то недостаточно... Почему он так мало (без крайне необходимых ему деталей) мог созерцать те места, в которых они пребывали? Почему отец почти никогда не показывался ему?

Одно время Ребов рьяно взялся за разнообразные «пособия» по осознаным сновидениям и даже несколько раз организовывал какие-то семинары среди интересующейся публики (а такие всегда находились), но затем быстро охладел к этому, поскольку «контроль за руками» и подобные вещи получались у него исключительно в обычных снах. Когда

снились иномирные сновидения, все навыки по контролю испарялись, и он просто пребывал со своими родственниками, тихо радуясь их присутствию во сне и жутко злясь смутности воспоминаний о произошедшем очередном контакте уже наяву.

Следующим достаточно длительным его увлечением был анализ сообщений тех, кто пережил клиническую смерть и «опыты вне тела». Книги Моуди, Кюблер-Росс, Монро и те рассказы, которые приводились в них, вызывали в нем неподдельный восторг своим поразительным сходством с текстами сновидений о «том свете».

В итоге, проанализировав основные мотивы и отметив удивительное сходство упомянутых текстов, он снова вернулся к своему вечному вопросу о «личном соучастии». «Поучаствовать» в клинической смерти можно только путем попытки самоубийства. А это был совсем не его путь – по многим причинам, – в том числе из-за наличия «ошметков религиозности», как шутил сам с собой Ребов.

Определенное время он посвятил и так называемым “trips” – рассказам, рождающимся под воздействием наркотического опьянения. Кое-какой опыт имелся у него и в области медитации, холотропного дыхания и т.п.

Тем не менее все эти многочисленные «прикосновения к инобытию» (так он окрестил свои «псевдонаучные» метания) привели его к выводу о том, что именно сновидение и конкретнее – иномирные сны создавали наиболее естественную и «с привкусом настоящести» основу для контактов с умершими.

Все остальные способы были связаны, скорее, с воображением и фантазией конкретного человека и, если такие пути и наводили мосты между тем и этим миром, то эти последние были слишком искусственны и интуитивно расценивались Петром как «ведущие в никуда».

Именно так Ребов пришел к идее депривации. Да, конечно, лишение себя сна – это идея, также связанная с каким-то «воровством у природы». Однако именно этот путь, как показывали предварительные опыты Петра и многочисленные описания в литературе сомнологического характера, мог действительно углубить переживаемое в иномирных сновидениях. Первоначально Ребов весьма заинтересовался опытами по депривации парадоксального сна, но затем пришел к выводу, что сновидения не могут быть так жестко привязаны только к одной условно выделяемой стадии. Впрочем, повторюсь, физиология сна была на периферии его интересов...

\*\*\*

После того, как он выторговал у научного руководителя целый месяц,

Ребов решил реализовать свою давнишнюю мечту по длительному лишению сна, которое сочеталось бы с полной изоляцией от каких-либо социальных контактов. Сам Петр объяснял это себе тем, что испытуемый (т.е. он сам) должен быть вырван из привычной повседневности – для того, чтобы та, другая «повседневность» стала бы ему более близкой, позволила бы ему подойти вплотную к заветной «двери»... В этом смысле полная изоляция от общения с другими людьми как нельзя лучше соответствовала этой задаче будущего эксперимента.

Ребов зарабатывал на жизнь, перебиваясь внештатником в различных местных газетах. В одной из них он подрабатывал еще корректором. Кроме того, иногда кто-нибудь из сердобольных «богемствующих» друзей подбрасывал ему шабашки в форме переводов каких-нибудь технических или коммерческих статей.

В общем, при особом желании (а таковое имелось) выторговать на всех своих работах 4 недели абсолютной свободы для Ребова особого труда не составило, – повозиться пришлось только с корректорством: газета выходила три раза в неделю, и здесь необходимо было подыскать себе временную замену.

Поскольку основной (в какой-то степени, конечно) установкой было «преодоление повседневности», Ребов решил проводить эксперимент не в своей квартире, а на пустующей даче, доставшейся от родителей. Соседи по участку давно забросили свои сады-огороды, и его одноэтажный кирпичный загородный домик, окруженный со всех сторон почти целинными полями, во всех смыслах подходил идеально.

Дело оставалось за малым: обеспечить себя бесперебойным электричеством (восстановить давно сворованные провода оказалось хлопотной, но вполне решаемой проблемой), а также – существенными запасами еды и воды, кое-какой техникой (ноутбук, диктофон и др.), определенными лекарствами на случай простуды и т.д. В идеальных мечтах Ребов подумывал о необходимости контроля за электроэнцефалограммой (ЭЭГ) мозга – эти нейрофизиологические данные могли бы помочь для последующего анализа полученных благодаря эксперименту результатов. Однако обеспечить себя датчиками для снятия ЭЭГ Петр был не в состоянии; он утешал себя тем, что, в принципе, подобные данные наукой уже получены...

Одиночеству весьма благоприятствовали наступившие холода и окончившийся (как всегда неожиданно) в связи с этим дачный сезон. Ребов, подготавливая дачу к эксперименту, наглухо забил единственное окно в своем домике; кроме того, он решил как можно реже выходить из своего кирпичного пристанища, поскольку максимальная изоляция от внешнего

мира также работала на главную цель опыта.

Ранним утром 11 октября (была суббота) Петр закрыл изнутри дверь дачной избенки. На чердаке Ребов соорудил велотренажер (один из вариантов «пробудителя», – если пользоваться «внутренней терминологией» самого экспериментатора). Естественно, что из домика была убрана кровать и оставлены только два деревянных стула и небольшое кресло – «для чтения». Полностью были устранены все средства телефонной связи, а также радио...

*(окончание «Набросков»)*

\*\*\*

*(Избранные фрагменты дневника Ребова)*

<... > Идет первый день моего опыта. Немного раздражает, что из научной литературы и моих предыдущих попыток я уже приблизительно знаю, какова будет реакция организма на первые 2-3 суток депривации...

Впрочем, тут надо учитывать и различные индивидуальные обстоятельства и условия – осенний сезон, наступившие холода, мое не особо важное физическое самочувствие – насморк и т.п. Всё это может оказать определенное влияние на конечные результаты. Посмотрим...

Ладно, пока поразмышляем о моих целях, т.е. чего я жду и зачем я всё это затеял. Далее я постараюсь заполнять эти страницы исключительно отчетом о собственном самочувствии...

<...> Все-таки депривация – конечно, не самоцель. Я – достаточно подготовлен для того, чтобы осознавать тот факт, что пребывание без сна более 11-13 суток способно вызвать необратимые органические изменения в коре головного мозга (все здесь зависит от индивидуальности испытуемого). Основной мой интерес сосредоточен, с одной стороны, на сновидениях, которые будут спровоцированы постдепривационной стадией (быть может, за этот месяц я организую целую серию деприваций). С другой, меня весьма интересует стадии так называемых «галлюцинаций»: мозг, вырванный из привычного ритма «сон-бодрствование», должен начать «грезить наяву» – здесь я также ожидаю ряд любопытных результатов.

Наконец, особое значение имеет соответствующий эмоциональный настрой «на иномирное». И для этого я, к сожалению, подхожу идеально: ничего, кроме нового уровня общения с моими погибшими близкими, мне, по всей видимости, и не нужно от этого «опыта»...

<...>

13 октября, третий день лишения сна. Сегодня, как я ожидал, был прилив бодрости и сил. Такой эффект дает обычно двухдневное лишение сна. Жду с нетерпением этапа в пять суток – приблизительно время

галлюцинаций... Непреодолимо ко сну начинает клонить ближе к полудню и в предутренние часы. Впрочем, в разные дни по-разному. Спасаясь тем, что почти не пользуюсь обогревателем – по ночам за окном уже минусовая температура, холод способствует бодрости. Также помогает велотренажер и обливание холодной водой.

<...>

Читать всё сложнее. Когда пишу – на бумаге или за ноутбуком – также невыносимо хочу спать...

<...>

14 октября, четвертые сутки без сна. Дальнейшему проведению эксперимента стали ощутимо препятствовать явления так называемого «микросна»: я на некоторое время «выпадаю из реальности» и, проснувшись, понимаю, что спал несколько секунд или минут.

Единственное более-менее эффективное средство против этого – физические упражнения под ритмичную музыку (благо в ноуте много подобной музыкальной чепухи). Думаю, однако, что это средство – только временный помощник.

<...>

15 октября. Завершаются пятые сутки депривации. Час назад испытал целую серию явлений «микросна», в результате чего я постыдным образом провалился на столе рядом с ноутбуком в течение почти получаса – спал, яко сурок.

Это здорово меня расстроило, но в то же время взбодрило. Кстати, спал, кажется, без сновидений. Никаких галлюцинаций пока не замечал.

<...>

Только что минут двадцать беспричинно плакал навзрыд. До этого момента меня терзало ужасное настроение, в чем я старался не признаваться в данном дневнике, хотя это глупо: для этого я его и веду, чтобы фиксировать всё – учет эмоций испытуемого весьма важен...

Часто думаю о матери и о брате. Вспоминаю проклятый момент, когда я не смог или не захотел к ним присоединиться в той поездке... Не помню уже, почему не поехал... Еще вспоминаю свой последний сон про них: я увидел мать и брата на зелено-серой поляне; рядом – какой-то приземистый дом, как я понял – их жилище на том свете. Они молча смотрели на меня; брат улыбался, а затем пошел в сторону какой-то воды, – наверное, это пруд из нашего детства. Или все-таки река...

Я только что видел кого-то за своим плечом! Боковым зрением я заметил мелькнувшую фигуру. Мне не могло показаться. Стоп! Сейчас как раз стадия активных галлюцинаций. Петр, крепче держим себя в руках!

<...>

Решил подняться к велотренажеру. Как назло на чердаке перегорела лампа. Вставил новую. Покрутил педали, и страх вроде улетучился... Ну, я имею в виду... что испытывал страх подняться на чердак. Стыдно, конечно. Но страх был. Эта фигура дурацкая...

<...>

Опять спал не менее часа. Странно, я, по всей видимости, начинаю путаться в днях. Компьютер показывает, что сегодня суббота, 18 октября. То есть прошла неделя моего эксперимента. А по моим ощущениям времени должно было пройти... меньше. Будто еще четверг или пятница... Ладно, оставим биологические ритмы в покое...

<...>

Сейчас, когда я пишу эти строки, я отчетливо вижу на стене серую фигуру человека. Теперь мне не нужно для этого прибегать к боковому зрению.

<...>

Думаю о маме. Я опять плакал. Разговаривал с братом. Он сказал, что ему очень не хватает меня. Просил пойти с ним. Я молчал и не отказывался.

<...>

Вынужденно прервал эксперимент по депривации – кажется, упал в обморок. Судя по времени, показываемому ноутбуком, я спал около 10 часов. Чувствую разбитость во всем теле. Проснувшись, сразу схватился за диктофон. Но – бесполезно: рассказывать нечего: спал, как убитый. Ни одного сновидения. Полная темнота. Кстати, о темноте. Заметил, что начал опасаться прихода ночного времени суток. Днем, когда солнечный свет пробивается сквозь щели в забитом окне, на душе не так сумрачно...<...>

В два часа ночи взяли свет. Электричества не было более 4-х часов. Батареи ноутбука сели до странности быстро. Ходил некоторое время из угла в угол, размышляя о необходимости продолжить депривацию (пока после моего обморока не спал еще только 1,5 суток)...

Так вот, – в очередной раз повернулся спиной к столу и четко ощутил прикосновение чьей-то руки! Пишу это уже под утро. В тот момент вскрикнул и начал судорожно искать ключи от двери. Не мог найти почти 15 минут. Фонарик сел, и поиски продолжал почти в кромешной тьме. Потом нашел, но к тому времени успокоился и решил остаться в домике.

После того, как дали электричество, заметил у себя на запястье 4 синяка – будто от пальцев. Ровно в том месте, где ощутил прикосновение! Страх не испытываю (подавил), синяки сфотографировал на свою «мыльницу».

<...>

Решил продолжать эксперимент по депривации...

<...>

Сегодня среда, 22 октября. Вечером просматривал наш старый фотоальбом – его мне подарила одна из теток лет семь назад. На фотографиях – отец с братом на рыбалке; мама в фартуке – как раз на этой даче...

Я... Господи... Он или она, – я боролся. Спокойно, Петр! Включи музыку! Включил. Буду писать на бумаге. Компьютер безумно раздражает.

Я снова уснул, кажется. В кресле. Или за столом. Я не помню точно. На меня навалились – на грудь. Ощущения очень отчетливые: меня не душили, но навалились на грудь. И я не мог дышать. Затем отпустило. Это всё.

<...>

Господи! Какое счастье! Я видел их всех: отец был как-то ниже ростом, ну, там в каких-то каменоломнях – он вагонетки с углем таскает. А мама с братом – они на дереве живут. У них домик такой белый – он на дереве. И еще рядом – другие домики. И этот другой – это тёткин дом, она там живет. Она же тоже мертвая уже полгода. А в том, где брат, там у него – ой, как хорошо. Мы с ним вместе...

<...>

Смотрю последнюю запись – я не помню, когда это написал. И почерк – не мой. Глупость. Кажется, пора заканчивать и со второй стадией депривации, – сегодня уже пятница. Наверное, хватит. Микросны одолевают, но сновидений фактически не вижу. Вероятно, сегодня дам себе полноценно выспаться.

<...>

Мне страшно. Я не могу заснуть, хотя специально разместился для этого в кресле – поставил под ноги стул. А сна нет. Буду писать – может, устану и засну. На чердак не полезу – там, кажется, брат спит. Не хочу его будить...

<...>

Спал снова без сновидений. Мне страшно. Я хочу сновидений – а их всё нет. Если нет снов – то зачем этот эксперимент и зачем я?

Что я значу без моих снов? Так, спокойно, Петр!..

<...>

Мама смеется над моими записями. Она говорит, что все равно это бесполезный труд. Здесь никто не обязан что-либо делать, здесь все занимаются, чем хотят. Я ей отвечаю: а что если писать – это как раз то, чем я хочу заниматься? Она смеется.

Брат здесь, а отец – там, пониже. У них такой уютный дом! А дача мне надоела, и я замерз. Мне холодно...

*(окончание дневника П. Ребова)*

\*\*\*

*(дополнение А. Кробелева)*

Я не буду приводить заключение судмедэкспертизы. Оно мне не интересно.

Я опубликовал разрозненные заметки моего друга Петра Ребова так, как посчитал нужным. Лично я считаю, что холодные ночи просто доконали его там на даче: отопления не было, обогревателем он совершенно не пользовался... А организм – крайне ослаблен трехнедельным недоеданием и депривацией сна.

То, что осталось из записей в ноутбуке (да и в тетради тоже) – в основном, бессмыслица: подробное описание каких-то домов, деревьев, полян; все это сопровождается маловразумительными рисунками и формулами... Вряд ли это добавит что-либо нового к тому, что уже опубликовано.

Я уверен, что все действительно важное уже приведено мною выше.

Добавлю, что, если все-таки у кого-то возникнет желание ознакомиться с остальным, – я, в принципе, не буду против.

Так что – обращайтесь, если что...

# Визуальная антропология

*Посвящается МП и МГ, моим учителям*

– Так какая, ты говоришь, антропология?

– Визуальная. Визуальная антропология. Ну, черт с ними, с терминами! Ты поедешь со мной или нет?

– Послушай, что ты там хочешь найти в этом полувывершем селе? Какой фильм? Ты знаешь, что этот... как его – Мокрый твой – он даже не на федеральной трассе располагается? Там самые лучшие дома стуют раз в сорок дешевле твоей никудышной видеокамеры!..

– Я знаю, что камера у меня плохая. Зато у тебя – самая замечательная! – Филимонов при этих словах сразу смягчился. – Так поедешь или нет? Слушай, там природа, воздух, – в конце концов девчонку себе какую-нибудь сельскую присмотришь? А?

– Чур меня! У меня есть знакомый один, телемастер, – как раз из тех мест, так он мне неоднократно божился, что в тамошних лесах военные свалку из негодного химического оружия сделали! Представляешь, какие там девки водятся?

– Брось! Ну, что я тебя уговариваю: ведь сам без работы второй месяц сидишь, а тут – грант! Гра-ант, понимаешь? Денежки! Я тебе червонец за неделю фактического отдыха предлагаю!..

– Знаю я твой отдых: вставать, наверное, часов в пять каждое утро придется...

В общем, Филимонов ворчал еще полчаса, но в итоге – и это важно – согласился.

Грант достался Большакову почти играючи: какая-то грантовская муза посетила, вероятно, Сашу в тот вечер, когда он за час состряпал заявку и отправил ее по e-mail'у на удалую. Он сейчас уже сам с трудом вспоминал, что же составило содержание заявки и каковы будут, так сказать, результаты научной деятельности.

Он хотел снять фильм – только и всего.

Кандидатом ист. наук Большаков стал года три назад. Тема диссертации была связана с наличниками нескольких сел одного из районов нашей небольшой области. Работал он над диссером увлеченно, но после защиты к теме как-то охладел...

По глубокому убеждению Саши, снять фильм – дело мудрёное и простое одновременно. Тут всё зависело от удачи; однако после такого

---

*Впервые опубликовано: Карамзинский сад. Ульяновск, 2010. № 3. С. 6-21.*

неожиданного случая с получением гранта Большаков в свою звезду поверил безоговорочно.

Село Мокрый Сункар было выбрано почти случайно, вероятно, по принципу: чем глуше – тем лучше. Однако (как потом заверял Большаков) при очередном осмотре карты области, когда взгляд его остановился на названии именно этого села, сердце его мучительно-сладко заняло, родственники грантовской музыки запели совсем рядом – и он доверился своей интуиции целиком и полностью.

Столько сил на уговоры Филимонова – своего старого университетского приятеля с соседнего факультета – Саша затратил по нескольким причинам: во-первых, уговаривать все равно пришлось бы, так как Ленька уговоры любил; во-вторых, он считался одним из лучших телеоператоров города, хотя из-за своего характера долго нигде не задерживался. Наконец, вдвоем всегда сподручнее, тем более в таком ответственном деле, как Фильм: кто-то же должен контролировать камеру, о коей в процессе работы Большаков часто забывал.

Ехать решили на доставшейся от отца большаковской «копейке» (отец благополучно отъездил на ней тридцать лет и расставался с ней, как с любимой, но уже изрядно поднадоевшей женщиной, – стена и радуясь одновременно). О возможном пристанище на неделю Саша хотел договориться на месте, когда приедут в село, но тут вечно ворчавший Филимонов вдруг предложил готовый вариант: оказывается, он созвонился со своим другом-телемастером, упомянутым выше, и тот согласился – можно сказать даром – предоставить свою пустующую избу в распоряжение друзей.

Большаков, было, засомневался: опыт показывал, что готовые варианты Филимонова часто заканчивались плачевно, однако лето есть лето: в золотую августовскую пору можно переночевать хоть в халупе. Приехав на место, Большаков убедился в справедливости своего последнего предположения.

Впрочем, вечерние мокросункарские виды быстро выветрили печаль по этому поводу из сердца начинающего визуального антрополога. Протарахтев на «копейке» через всё село, они уже в сумерках (или, как говорили местные, «в сутисках») стали обосновываться в избе телемастера.

Несмотря на обилие сваленных в сарае электроприборов, электричества не было. Филимонов наладил его только утром следующего дня, так что ужинать пришлось при свечах. С молчаливого согласия Большакова Ленька водрузил на стол перцовку и две походные рюмки. «Чтобы дело спорилось!» – предложил тост Филимонов, Саша кивнул и опрокинул рюмку. Совершив сей ритуал, они стали готовиться ко сну.

У окна стоял большой старый диван, который Большаков сразу окрестил «клоповником» и великодушно уступил его Леньке. Сам он решил избрать в качестве лежбища кровать с металлическими пружинами, стоявшую ближе к печке, оправдывая это тем, что у окна его обязательно продует. Филимонов, которому всегда было душно, согласился без обычного ворчания. Саша быстро устроился на свое место, решив перед сном поразмыслить о своих завтрашних планах. Кровать проседала почти до пола, оставляя голову где-то далеко вверху, но Саше это даже нравилось. В приятной полудреме (было умеренно свежо; свой убаюкивающий концерт затеяли местные насекомые) он еще долго слышал, как чертыхающийся Ленька искал во дворе туалет...

\*\*\*

Проснулся он около восьми и, вскочив с кровати, сразу принялся за осмотр техники: так, диктофон есть, фотоаппарат, видеокассеты, блокнот...

Не хватало мелочи: определиться, куда пойти в первую очередь. Этнографический полевой опыт – пусть небольшой – у Саши имелся. Для начала он решил опросить соседей, а затем уже ближе к обеду выйти на местных звезд – здешнюю администрацию: им нужно представиться обязательно, иначе можно кровно обидеть. Всё-таки не каждый день к ним приезжают кандидаты наук фильмы снимать. Впрочем, опять же – как показывал опыт, местное руководство обычно хорошо справлялось с функциями благословления на работу и иногда помогало дельными советами, к кому сходить в первую очередь.

И, правда, кого же искал Большаков в этом селе? Этим вопросом он задавался постоянно, но ничего, кроме как неопределенного: «найти личность поярче», он сформулировать не мог. Ну, конечно, в первую очередь его интересовали местные старожилы, знатоки традиции, ремесла; быть может, – местные знахари и балагуры. Но все это – и то, и не совсем то. «Ищу личность!» – так сумбурно сформулировал для себя свою утреннюю цель Большаков и, допив кофе, отправился «в шабры». Филимонова он решил пока не брать, чтобы, как он объяснял себе сам, «не распугать местных»: Ленька был человек прямодушный и наставить – безо всяких объяснений и предупреждений – на человека объектив камеры было для него делом привычным и само собой разумеющимся...

В шабрах с населением оказалось негусто: слева пол-улицы заброшено, справа – через дом – жила баба Катя Фолунина. С ней Саша просидел до самого обеда, пока на сотовом, поставленном на беззвучный режим, не высветилось 11 пропущенных вызовов – дело рук

заскучавшего Филимонова.

Баба Катя оказалась великолепной рассказчицей и даже песенницей. В середине разговора, несмотря на попытки остановить ее, предпринимавшиеся со стороны Саши (все-таки бабушка давно разменяла восьмой десяток), она полезла на подловку и приволокла оттуда заиндедевшую от старости прялку и донце к ней. Большаков забыл про все на свете – даже про фильм: дальше пошли рассказы про оборотней и колдунов, затем перешли на местных мастеровитых людей: оказалось, что Мокрый славится, в основном, кузнецами и гончарами. «Но шас, сынок, они зараз все повымерли: надо было тебе сюды лет тридцать назад приехать». Договорившись с бабой Катей, что, возможно, заглянет к ней еще раз, Саша неохотно распрощался с соседкой и вернулся в избу телемастера.

Филимонов встретил его на крыльце в обнимку со штативом и с сигаретой в зубах. В его глазах светилась нешуточная готовность работать... Саша в общих словах рассказал ему о своей первой удаче. Как ни странно, наиболее привлекательной ему показалась не совсем лестная в устах бабы Кати характеристика местного колдуна – личности, как он понял, незаурядной. Однако здесь всё нужно было проверить самому. Фолунина отзывалась о нем со всей непосредственностью: «Какой он колдун – так, пьянь одна. Приехал сюды откель его знает!.. Ну, ездют к нему, ездют, – лечатся, вроде как... Но ты, Саша, к нему не ходи: у нас есть вот на Верхней улице тетя Маня Марусина, вот она помогат. А этот – ни рыба ни мясо...».

Саша, конечно, решил сходить и к колдуну, и к тете Мане Марусиной. Но сначала надо было все-таки совершить визит вежливости в местную администрацию. Тут представительный вид Леньки со штативом и большой видеокамерой как нельзя кстати.

Наскоро перекусив, друзья отправились в центр села. На белесорозовом выдавшем виды здании администрации висел пудовой замок, однако проходившая мимо женщина тут же посвятила приехавших во все тонкости местной дипломатии. Оказывается, сегодня день субботний и нерабочий, но, ежели очень надо, то Людмилу Анатольевну – главу администрации – всегда можно обнаружить в данное время на задах ее собственного дома, где она наверняка занимается обработкой лука.

Последовав указанию, гости быстро обнаружили искомый пятистенный шатровый дом. Людмила Анатольевна, оказавшись приятной во всех отношениях дамой лет сорока пяти, мило заулыбалась, вытерла испачканные после лука руки о свой передник и сразу же попросила друзей в дом на чашку чая.

Восшествовав в дом, Филимонов с победным видом разместил свой штатив и сумку с видеокамерой возле широкого дивана, на который пригласила его сесть великодушная хозяйка. Большаков, как всегда не утерпев, тут же начал расспрашивать главу про местную жизнь. В течение каких-то пяти минут Саша, используя, вероятно, магические слова «университет», «грант», «научно-исследовательская экспедиция», а главное – «фильм как итог работы», сумел так расположить к себе хозяйку, что та не отпускала их часа три. Филимонов даже несколько раз по специальному знаку Саши распаковывал видеокамеру и, как он громогласно объявлял на всю избу, «делал пробные съемки», объектом коих была, конечно, очаровательная глава.

Это окончательно растрогало Людмилу Анатольевну, и та пообещала «всяческое содействие данному научно-исследовательскому проекту». Это в свою очередь так растрогало Филимонова, что он потратил на видеосъемку почти целую кассету из десятка имеющихся. Когда они уже ближе к вечеру вернулись в избу, ставшую им временным домом, Ленька тайком от Большакова спрятал отснятое, потому что знал, что Сашка, скорее всего, заставит его стереть записанное: драгоценных видеокассет слишком мало, а впереди – недельная работа. Но Филимонов точно следовал своей давно установившейся верной примете: хочешь получить хорошую съемку – никогда не стирай первые материалы.

Мысленно подводя итоги дня, Большаков признал их удачными: есть несколько часов аудиозаписи бабы Кати и более-менее четкие сведения о том, кого посетить завтра.

В разговоре с главой администрации Большаков попытался осторожно навести справки насчет «колдуна» и подсказанной бабой Катей знахарки, но, как и ожидал, получил их весьма нелестные характеристики.

«Вам бы лучше съездить в Новостепаново, – мечтательно произнесла в этом месте беседы Людмила Анатольевна. – Сама я оттуда. Вот там действительно и этнография самая настоящая, и этот самый... фольклор. И люди там получше. А здесь... Не тот народ здесь. Говорят, что даже церковь здесь была раньше старообрядческая. А кулугуры – они, сами знаете, народ не больно общительный...».

Впрочем, поход к главе вовсе не был пустой тратой времени, поскольку она назвала целый ряд жителей, к кому, по ее мнению, надо было попасть в первую очередь. Как оказалось позднее, беседы с ними стали настоящим открытием для Большакова. И в то же время он понимал, что все эти материалы не смогут стать центральным сюжетом фильма. Здесь нужно было что-то еще, другое. И именно это «другое» он искал в первую очередь.

За ужином Филимонов достал початую перцовку и наполнил традиционные рюмки. «За продуктивно начатую экспедицию!» – произнес он. «Аминь», – поддержал его Большаков и пригубил перцовку. Уже опорожнивший свой сосуд Ленька осуждающе закачал головой: «Не принимается. Такой тост – до дна!». Саша обреченно перекрестил рюмку и допил.

Августовские ночи становились все холоднее. Слушая спящего и мерно посапывающего на своем диване Леньку, Большаков записывал в блокноте, который обычно выполнял у него функцию полевого дневника: «Если в центре сюжета фильма будет «колдун» (по-моему, б. Катя его назвала «Толей»), то необходимо зафиксировать на видео мнения о нем окружающих. Людмилу Анатольевну мы уже, кажется, засняли. Надо бы завтра сделать несколько кадров с бабой Катей и, наконец, организовать личную встречу со знахаркой и этим самым «Толей». Кроме того, нужно пройти по всем, кого назвала глава. Беречь видеокассеты не стоит – чем больше материала, тем больше шансов добиться желаемого.

А чего я собственно хочу? Живой жизни хочется. Суметь показать жизнь целостной личности, уловить в нескольких минутах судьбу человека, а вовсе не снять очередную иллюстрацию к какому-то перечню традиционных знаний. Именно поэтому не концентрируюсь я, как обычно, на песенниках-рассказчиках, кузнецах-валяльщиках валенок и иже с ними. Конечно, любой из них может стать центром фильма, но любой ли сможет раскрыться до живой жизни? Здесь, вероятно, многое, если не всё, от меня зависит, а не от них... И здесь, скорее всего, не неделя нужна, а годы... Ладно, посмотрим».

Выронив ручку, Большаков зарылся в одеяло. Нижняя часть тела, как всегда, спружинив, ушла постепенно к полу, а голова вознеслась вверх. За печкой завел песню сверчок; ветер упрямо стучал в окно веткой невидимого дерева. Но Саша уже этого не слышал, погрузившись в сон.

\*\*\*

Когда Большаков открыл глаза, была всё еще ночь. Филимонова слышно не было. Прислушавшись, Саша вообще не уловил ни единого звука, и это его насторожило: должно же как-то проявлять себя ночное село. Хоть бы соседская собака проснулась и хрипло заворчала бы на кого-нибудь или цепью погромела. Никого...

Спустив ноги с кровати, Саша решил прогуляться на двор. Свет от далекого и единственного на две улицы фонаря едва поблескивал в темноте, сливаясь со звездами. Вернувшись, Большаков увидел какого-то человека, склонившегося над столом и что-то записывающего в его,

большаковский, блокнот. Услышав вошедшего, человек повернулся, и Саша на мгновение увидел худощавое лицо незнакомца...

Тут что-то назойливо запищало, запикало, и Большаков услышал ворчание Леньки: «Да выключи ты свой будильник, третий раз пиликать начинает!». Большаков вскочил с кровати и понял, что увиденное было только сном.

Одевшись, он побежал смывать с себя остатки сновидения. Однако прохладная вода не помогла, и воспоминания о сне стали лишь четче. Во время завтрака, заметив молчаливость Сашки, Филимонов встревожился: «Ты что это, брат, печалуешься? У нас работа только начинается, а ты уж хандришь». Большаков сослался на головную боль и предложил временно воздержаться от перцовки, что навело печаль уже на Леньку.

Чуть погодя визуальные антропологи отправились к соседке бабе Кате. Камеры она сперва стеснялась, но Саша быстро занял ее разговором, и та охотно пересказала несколько случаев излечения у местной знахарки. К тете Мане Марусиной Фолунина сама обращалась неоднократно: сначала с маленькой дочкой – у той был испуг, затем хворь получилась с коровой. Что касается колдуна «Тольки», то он всего «лет десять назад здесь объявился, и сама я никогда у него не была. Но люди калякают, что и гадают он, и порчу снимает. А какую порчу, – когда он в Бугульме полжизни клоуном проработал!».

Большаков сначала подумал, что ослышался: «Как клоуном?» – «Да так, милый, как клоунами по циркам работают – и он эдак же».

Саша снова уловил где-то внутри себя звуки песен сладкоголосых родственников грантовской музы...

Выяснив, где проживает «онный клоун», как выразился шутник-Филимонов, друзья отправились в сторону школы. Именно там, по словам Фолуниной, проживал местный колдун. Тетя Маня Марусина жила чуть дальше – на Верхней улице.

Школа была расположена недалеко от автобусной остановки на естественном возвышении. Не доходя до нее, друзья услышали крики, доносящиеся от одного небольшого, словно вросшего в землю дома. Спустя несколько минут по содержанию криков стал ясен общий смысл происходящего: чья-то жена выражала бурный протест против того, что муж злоупотребил уже с утра. По какому-то наитию Большаков догадался, что разыгрываемое действие вскоре должно переместиться на улицу. «Камеру! Немедленно доставай камеру!» – зашептал Большаков. Недоуменно покосившись на друга и заметив хорошо знакомый ему блеск в глазах Саши, Ленька начал неторопливо расстегивать сумку. «Да ну давай же, что ты возишься!» – торопил Большаков, пританцовывая от

нетерпения. Филимонов, всё так же не торопясь, извлек свое сокровище на свет и начал доставать штатив. «Бог, Бог с ним с твоим штативом!.. Послушай, это очень важно: снимай всё то, что сейчас будет происходить возле того дома, займи удобную позицию!». Филимонов обреченно вздохнул и начал бормотать что-то про «баланс белого», но Большаков уже не слушал и застыл в ожидании.

Когда наконец камера была готова, словно по заказу дворовая дверь настежь распахнулась и оттуда, как черт из табакерки, вылетел тоненький, небольшого роста мужичок лет шестидесяти. Под мышкой он бережно держал что-то свернутое в газету. Через мгновение за ним следом выбежала грузная женщина с платком на голове. «Я тебе покажу, лечится он! Лечится-калечится! Пьянь!.. Пьянь!». Мужичонка, отбежав от двери и встав почти посередине улицы – одной ногой в колею, проделанную колесом автобуса, – прокричал ей в ответ: «Лечусь! Да, лечусь! Ты жизни моей не знаешь, какую я пружил. Я, если пить не буду, всю болезнь на себя возьму! Говорил же тебе сто раз!».

«Говори-ил!.. – передразнила его жена и вдруг как-то сразу успокоилась. Затем она глубоко вздохнула и, не сделав далее ни шагу, опустила на лавку под окнами избы. – Пьянь ты, вот кто! Зла не хватает на тебя. И зачем... – она взяла правой рукой передник и вытерла им вспотевшее от крика и бега лицо. – И зачем я только за тебя пошла, знала ведь, знала судьбу свою...».

Тут только мужичонка обнаружил стоявших с камерой и, потеряв всякий интерес к жене, засеменил в их сторону. «Снял? Всё снял?» – прошептал Большаков. «Да куда оно денется?» – ответил Филимонов, всё еще глядя в объектив. «Это вы не по поводу колодца нашего здесь?» – еще не доходя до друзей, спросил мужичок. У него был чуть тягучий и временами напоминающий женский голос. Большаков умело вывернулся из ситуации, ответив вопросом на вопрос: «Вы не Анатолий Михайлович?» – «Он самый буду! А вы откель?».

Через минуту антропологи уже сидели на лавочке рядом с супругами, которые совершенно забыв про ссору, наперебой отвечали на вопросы Саши. Камеры они, казалось, не замечали, но потом «дядь Толя», как отныне именовали его друзья, повернулся в сторону стоявшего Филимонова и огорошил его ровно следующим: «Да сядь ты, поговорим! Всё равно ничего не будет писать твоя камера. Белое пятно будет!». Это было сказано с такой уверенностью, что забеспокоился даже всегда непоколебимый в отношении своей техники Ленька. Впрочем, по незаметному знаку Саши, Филимонов все-таки временно выключил камеру, и беседа благополучно продолжилась далее.

Спустя час разговор пришлось прервать, поскольку у супругов нашлись срочные огородные дела. Однако они охотно согласились встретиться с гостями вечером этого же дня.

Для предварительных сведений записанного было вполне достаточно. Как только друзья отошли от избы колдуна, Саша потребовал проверить, всё ли записалось. После того как Филимонов заверил, что все записи в порядке, Большаков радостно зашагал далее. Друзья решили вернуться к себе, дабы перекусить. Затем было решено добратся до дома знахарки тети Мани.

«Мне кажется, что супруга во многом сковывает его...» – сказал вдруг за обедом Саша. «Кого? Колдуна твоего, что ли?» – усмехнулся Филимонов. «Ну, да...» – «И сдался тебе этот клоун? Чего ты в нем нашел?» – «Нет-нет. Что-то есть: видишь, как он сегодня умело сворачивал с темы своей биографии, – одна и та же пластинка про приезжающих к нему клиентов...».

«Слушай, – неожиданно предложил Ленька, – а может, его к нам пригласить, в нашу мужскую компанию? Нальем ему перцовки, посидим, как мужики, вот он и запоет, как надо?» – «Да как... как надо?» – Большаков недовольно отодвинулся от стола. – В том-то и дело, что необходимо создать какую-то естественную для него ситуацию, вот как сегодня, когда они нас не замечали».

«Не знаю, – пожал плечами Ленька. – Что может быть естественнее, чем выпить с мужиками?» – «Да вот и я не знаю... – задумчиво ответил Саша. – Давай всё-таки попробуем сегодня организовать съемку у него дома, а там – посмотрим».

Немного передохнув, визуальные антропологи двинулись на Верхнюю улицу. Встретив по дороге молодую женщину лет тридцати, они решили уточнить, где живет Марусина. Женщина, оказавшаяся учительницей мокросункарской школы, солидно расспросила гостей о целях их приезда и предупредила: «Вы только учтите, у ней недавно сын умер. Сегодня сорок дней справляют». Большаков замер: «Может, и не стоит тогда беспокоить?» – «Ну что вы, она будет только рада гостям, – что еще кто-нибудь ее Владика помянет...».

Поразмыслив, друзья все-таки решили навестить тетю Маню – скорее, для того, чтобы договориться о встрече на будущее, чем для беседы.

«Слушай, – сказал Филимонов другу, пока они шли к избе Марусиной. – Я вот слышал, что у знахарей да колдунов часто неблагоприятное какое-то встречается либо по судьбе, либо со здоровьем они маются... Ты что по этому поводу думаешь?» – «Бог его знает! – поежился почему-то Саша. – Дело это темное: однозначно что-либо

сказать нельзя...» – «Ну, вот, – заворчал Ленька, – а еще ученый называется. Моченый...».

У дома сидело несколько богомольного вида старушек в черных платках. Друзья поздоровались и, спросив «тётъ Марусю», зашли в избу. Обед давно кончился, душу уже тоже проводили. В избе было очень тихо: слышен был только пощелкивающий звук старого черного электросчетчика и иногда раздавался треск лампадки, горевшей перед иконами.

Большаков решил, что в доме вообще никого нет, но тут он заметил какое-то движение на небольшой кухне, основную часть которой занимала русская печь. Спиной к ним стояла низенького роста бабушка, одетая во всё черное. Она тихо водила рукой по тарелке, на которую тонкой струйкой текла вода, и, вероятно, совсем забыла о том, где находится. Филимонов, не выдержав тишины, шумно опустил тяжелую сумку с видеокамерой на пол. Старушка обернулась и, ничуть не удивившись, кивнула им. Саша негромко поздоровался и в двух словах рассказал о цели прихода: что вот, мол, «интересуемся жизнью бывалошной, нельзя ли немного посидеть – поговорить». Тетя Маня внимательно посмотрела на Большакова и закивала: «Я вас щас накормлю, а послая расскажу, что знаю». Саша внутренне обрадовался. Старушка быстро засуетилась, откуда-то появилась совсем молодая девчушка, лет двенадцати, видимо, внучка – всё у них вместе с бабушкой заспорилось, и через пять минут перед гостями стояли грибной суп, гороховая каша, кутья, кисель и, конечно, граненый стакан водки. Теперь внутренне обрадовался Ленька...

Пригубив водку, Саша осторожно затеял разговор. Он очень не любил быть в тягость кому-нибудь и при малейшем сигнале об этом со стороны уже понравившейся ему бабушки собирался ретироваться. Однако тетя Маня, судя по всему, сама была рада отвлечься от своих горестных воспоминаний и с охотой отвечала на вопросы «сыноньки», – так она в мгновение ока окрестила Большакова.

Филимонов, окончив второе и добравшись до дна заветного стакана, с необыкновенной ловкостью установил на штатив видеокамеру и затих за объективом. Беседующие в это время плавно перешли на тему заговоров. «Заговариваю, сынонька, как же. Вот, бывалача, прьдут: у кого зубы болят, у кого в спине ломота – я пошепчу, поговорю; всё – как рукой сымет...».

В это самое мгновение, к большому удивлению Саши, со стороны молчаливо работающей видеокамеры что-то крикнуло и раздалось многозначительное: «Ага-а!». И в этом «ага!» Большаков с ужасом ощутил

отдаленное эхо утренней перцовки, а главное – почти опорожненный стакан водки, которые, вероятно, поддерживая друг друга, наконец-то добрались до недавно столь ясного сознания Филимонова.

Ленька залихватски выглянул из-за камеры и слегка штормящей поступью приблизился к беседующим: «И вот, тётъ Мань, у меня сѣдня как раз зуб мудрости ломит! Ну, снизу который – я тебе, Сашка, сто раз говорил, помнишь? И ночью еще донимал. Поляйте, тётъ Мань?». Не дожидаясь ответа, Филимонов бухнулся на табуретку рядом со старушкой и замер в ожидании исцеления.

Большаков почти зажмурился от негодования: со стороны казалось, что он ждет праведной молнии с небес, которая поражает всех так не вовремя напившихся Филимоновых. Однако, к повторному удивлению Саши, молнии не последовало, а бабушка тут же спрыгнула с лавки и начала уточнять расположение всех больных мест Леньки. Большаков рванулся к видеокамере...

Спустя два часа друзья уже шли по мокросункарской улице в направлении своего пристанища. Лицо Леньки сияло так, как может сиять лицо человека, только что сдавшего экзамен на отлично – это при том, что выучил он единственный билет, как раз тот, который достался.

Большаков уже обдумывал предстоящую беседу с колдуном. Для съемок разговора с бывшим клоуном он решил использовать сразу две видеокамеры: это позволит при монтаже более свободно сочетать различные ракурсы и, быть может, повысит шансы реализовать главную цель поездки...

Зайдя в избу телемастера, Саша сразу бросился проверять готовность второй видеокамеры. Филимонов стащил с себя сумку и кинулся ничком на диван. С минуту оттуда доносились жалобы на судьбину, затем несколько раз было упомянуто о переставшем болеть зубе. Спустя еще минуту со стороны дивана раздался богатырский храп такой силы, что, как показалось Большакову, даже давно высохшие мухи, третий год отбывавшие срок в межстекольной тюрьме, вдруг вздрогнули и запросились на волю.

Саша решил дать ему час выспаться, но затем понял, что совершил роковую ошибку. Разоспавшийся Филимонов был совершенно не способен призвать себя к ответственности и, несмотря на осязаемое воздействие большаковских попыток его поднять, героически отказывался просыпаться.

Когда уже совсем стемнело, Ленька раскрыл глаза и, встав с дивана, молча удалился во двор. Его не было так долго, что Саша забеспокоился и вышел его искать. Он обнаружил Филимонова, живописно

расположившегося на крыльце – с сигаретой в зубах и бездонным взглядом, устремленным к звездам. Было тихо.

«Знаешь, – вдруг необычайно серьезным и хриплым после сна голосом произнес Ленька, обращаясь, скорее, ко всепрощающему крыльцу, нежели к стоявшему за его спиной Саше, – в детстве, лет пять мне было... А у соседней собака была – такая белая с большой красной пастью. Кажется, Бимкой звали. Так вот она однажды сорвалась и укусила меня – вот за лодыжку. – Филимонов засучил штанину и показал забытые временем небольшие шрамы. – Я тогда спать совсем перестал и заикаться начал. Меня мать к бабке одной возила – похожей на ту, у которой мы сегодня сидели... – он затянул в себя дым и помолчал. – Мы к ней раза три ходили... И всякий раз, как она пошепчет, я спать хочу – умираю просто. Мать меня полдороги обратно всё на руках тащила. Вот и щас то же самое...».

Некурящий Большаков спросил у друга сигарету, и они еще долго смотрели на постепенно пропадающее в вечерней мгле село, слушали переговоры мокросункарских собак и строили планы на завтра.

\*\*\*

Проснувшись, Саша почувствовал на себе чей-то взгляд. В избе был сумрак, но очертания даже мелких предметов были хорошо различимы – словно кто-то невидимый придал им дополнительную четкость остро подточенным простым карандашом. Затем Большаков ощутил тяжесть где-то в ногах: некто сидящий на его кровати начал устраиваться поудобнее. Никакого страха или удивления Саша не испытывал. Тело отказывалось подчиняться, однако Большакову всё-таки удалось вытянуть шею и приподнять голову – для того, чтобы разглядеть гостя. Это был уже знакомый худощавый старик, прошлой ночью писавший что-то в блокноте. Несмотря на то, что на голове сидящего болтался нелепый шутовской колпак с заостренным верхом, Большаков мгновенно узнал местного колдуна.

«Мы к вам собирались – да вот видите: не смогли сегодня...» – начал почему-то оправдываться Саша. Колдун быстро поднес свой палец к губам и совершенно по-глупому зашипел: «Щц-щц-щ! Филимонова разбудишь – уйти мне придется!» – затем он свесил голову с нелепым колпаком на бок и стал чесать рукой редкую бороденку. Саша начал сожалеть о том, что видеочамера очень далеко и руки совсем не слушаются.

«Я ведь вообще не хотел вас в село пускать, – снова зашептал бывший клоун, – а потом думаю: пусть его, молодым везде у нас дорога... Ты вот, Саш, скажи: я тебе махорку свою давал? – Большаков покачал головой. –

Вот видишь: самое главное да и забыл. Ну, ничего завтра у Филимонова спросишь – он у меня уж успел стрельнуть. Махорка, брат, это такое дело: ее не каждый правильно сотворить сможет. Ежели захочете – научу...». Он надолго замолчал и закрыл глаза. Саше тоже очень захотелось закрыть глаза и, уже впадая в полудрему, он выдавил: «А фильм...». Колдун вскинул сухими ручонками и залился тихим смехом. Колпак раскачивался из стороны в сторону, как маятник на старых часах. Затем он сочувственно зашептал: «Вот ты, болезный, – всё-то тебе человека в человеке найти надо. Ты не ищи, не ищи – оно и придет. Вот махорочку завтра я тебе дам. Вот это дело!..» – и он снова тихо и убаюкивающе засмеялся. Большаков не смог больше бороться с дремой и закрыл глаза...

«Эге-гей! Труба зовет! Кто вчера рвался на запись, а сегодня непробудный, как медведь?» – Филимонов, все еще, видимо, испытывающий какое-то неудобство за вчерашнее, пытался компенсировать это бурной утренней деятельностью. Саша, как назло, чувствующий себя с утра не важно (затекла шея от постоянно вздернутого положения головы на чертовски неудобной кровати), воспринял пробуждение «от Филимонова» без особого энтузиазма. Однако поплескавшись у старого умывальника, работающего по принципу: чем чаще нажимаешь – тем меньше течет, Саша быстро улучшил себе настроение.

За завтраком они совсем развеселились и стали обмениваться привычными подколами: особенно старался Филимонов, который, между прочим, несколько раз прошелся по красоте местных «представительниц женского населения». «Кстати, – оживился Саша, – как тебе местная учительница?» – «У которой мы вчера дорогу спрашивали? Ну, ничего-ничего. Стара уже, конечно, но тем не менее, это лучшее, что я успел заметить!». Тут Филимонов нагнулся к своей заветной сумке с видеокамерой и из бокового кармашка достал небольшой сверток из газетной бумаги. У совсем забывшего про ночной визит Саши вдруг потемнело в глазах. Ленька, ничего не замечая, продолжал разглагольствовать о женской красоте. «Это у тебя... что?» – выдавил наконец Саша.

«А-а! Это ты пока вчера с супругой дяди Толи отвлекся на тары-бары, я делом занимался: знаешь, чего у него в сверточке под мышкой было? Э-э, брат, самого главного ты и не заметил: ма-хор-ка! Слышал такое? Удалось стрельнуть: самосад чистойшей воды, яко слеза младенца. Будешь?». Саша справился с собой и не стал ни о чем рассказывать Леньке. Они вышли на крыльцо.

«Махорка – она подходу требует, – продолжал петь Ленька. – Как

женщина, честно слово! Вот ты думаешь, я тебе скручу ее из газеты? Ерунда! Весь вкус утратишь. Смотри и учись!». Филимонов извлек из кармана пачку «Беломора», точными, почти ласковыми движениями удалил оттуда табак и стал понемногу, порция за порцией, забивать в образовавшуюся полость махорку. Через десять минут изделие в двух уникальных экземплярах было готово. Друзья закурили. Саша сначала неумело закашлялся, затем приспособился и стал дымить не хуже Филимонова. Некоторое время курили молча. Затем Ленька не выдержал и начал сопровождать действие побрякиванием и постаныванием, изображающем высшую степень удовольствия. У Саши драло горло, но общие ощущения были странно приятными. Голове стало легко-легко и почему-то вспомнилось лицо встретившей их вчера молоденькой учительницы.

«Идем!» – решительно произнес Саша, и они, собравшись, отправились к дому колдуна.

Подойдя к знакомой избе, друзья долго колотили в раму, пытаясь достучаться до хозяев. Через некоторое время из соседнего дома выглянула взъерошенная голова дородного старика, который голосом батюшки, проповедующего с амвона, произнес: «На огороде они, картошку подкапывают. Тропкой идите – они ждут вас». Идя по указанной тропинке, Филимонов комментировал: «Слышал? Этот, с голосом, как паровозная труба, сказал, что ждут они нас? С чего вдруг? Ты что вчера бегал к ним, предупреждал? Нет? Удивительный случай! Может, и правда: колдун твой клоун? Шучу...».

На задах за домами располагались бескрайние огороды местных жителей. Вскоре друзья обнаружили две маячившие фигурки супругов: худая и маленькая держала в руках лопату; та, что побольше и потолще, копошилась с ведром и мешком.

Антропологов заметили издалека. Естественно, ни о какой полноценной записи, пока идет такая работа, речи быть не могло. Тем не менее Большаков шепотом попросил Леньку немного поснимать. Сам он подошел к дяде Толе, поздоровался и уже, было, собрался предложить свою помощь, как колдун улыбнулся и махнул рукой в сторону лопаты, лежавшей неподалеку. Большаков решил ничему не удивляться. Они неплохо поработали в поле: раскрасневшегося Сашу сменил удалой Филимонов, после чего уже через 15 минут супругам пришлось останавливать работягу, поскольку всю картошку они выкапывать сейчас не хотели.

Затем дядя Толя услад жену готовить обед «молодцам», а сам удобно расположился на траве в тени.

И тогда включенные видеокамеры, два штатива и вдохновленные работой на природе собеседники наконец-то услышали историю бывшего клоуна.

Его жизнь была проста и терпка, как махорка, которую он выращивал у себя в огороде: вырос в большой семье, сам-седьмой; когда родился, думали что не жилец: оставили возле печки – отойдет-не отойдет. Ребенок пригрелся, потянулся, закричал – «до сих пор жив-здоров». 3 года отслужил во флоте на Дальнем Востоке. «Владик» (Владивосток) до сих пор вспоминает с удовольствием, хотя прошло более сорока лет. Там встретился со своей первой любовью – «Любочкой»; там же, как он предполагает, оставил ей и своего сына: уезжал – была на седьмом месяце.

Затем – возвращение в свое родное село (оно расположено недалеко от Мокрого Сункара). Два раза был женат – «до тех пор пока вот Веру свою не встретил, жену нынешнюю – третью и самую любимую». Детей у него больше не было – «Бог нй дал». Когда был женат в первый раз, три года отсидел в тюрьме: «лес воровали вместе, пятеро нас было, не поделили чего-то – одного и порешили. Я-то не убивал да вот со всеми вместе и загремел».

Потом Большаков вспомнил про Бугульму. «А-а, – улыбнулся дядя Толя. – Вы и про то знаете! Было дело. Деваться некуда, а душа к этому склонна – люблю я балагурить да народ веселить. Это мы со второй женой: она меня в Бугульму увезла, городская вся такая. Вот я там через тестя моего тогдашнего в клоуны и заделался. Лет, наверно, восемь в клоунах ходил!.. А ты знаешь! Хочешь, покажу, как я по воздуху ходить могу? Хочешь?» – и глаза его загорелись каким-то детским, задорным блеском.

Большаков кивнул и сделал знак Филимонову, чтобы снял всё самым лучшим образом. Дядя Толя вскочил, сдернул с себя обувь, носки и, встав на утоптанную тропинку голыми ногами, сказал: «Снимай, снимай, Ленька! А ты, Саш, смотри, нигде такого больше не увидишь!». Он повернулся к друзьям спиной, поставил одну ногу вперед и стал, раскачиваясь и странным образом изгибая невероятно гибкие ступни ног, плавно перемещаться вперед. Филимонов следил за ним с камерой на плече. «Ну, что! – в глазах старика светилось торжество. – Видел такое, Сашка! Видел? Никогда и нигде не увидишь больше!».

Именно этот момент – когда в глазах дяди Толи светилось настоящее счастье – навсегда врезался в память Большакова. Он понял, что центр для сюжета Фильма найден. И он был так искренне рад этому, как, наверное, радовался в то самое мгновение, когда ему сказали, что у него родилась дочь...

С дядей Толей друзья встречались еще несколько раз. При прощании

с ними он предсказал, что Саша и Ленька обязательно еще раз вернуться: так и было в действительности – они возвращались, чтобы добрать материал.

Во второй раз дядя Толя вышел провожать их до самого края села: «Жаль, ребяташки, что больше уже не увидимся, – сказал он, пожимая антропологам руки. – Но такова уж судьба. На роду нам так с вами написано. Махорку вам даю как напоминание: часто ее не курите. А так, когда соберетесь вместе, вспомните про Мокрый да про дядю Толю – вот тогда и дымите себе на здоровье. Ну, бывайте! Жена ждет...».

Он торопливо махнул рукой в сторону друзей и засеменял прочь. Саша завел мотор, но долго еще не двигался с места, глядя в сторону. Филимонов молчал, затем вздохнул, крикнул и заворчал: «Да поехали уж! Темно скоро будет. А махоркой – я с тобой поделюсь, обещаю».



Рисунок Петра Аверьянова.

# Обыкновенная история

– Светулук.

– М-м?

– Вставай, красавица, проснись: я пришел к тебе с приветом!..

– Кончай, Кость. Дай – спать...

– Ты хоть чаек попьешь со мной (обиженно). Я ведь ухожу через 15 минут.

– Иду, иду (зевает). Ты яичницу пожарил, что ли?

– Точно, угадала... Мышка, мышка, по запаху чует, где зернышки (пытается заигрывать).

Света, еще не проснувшаяся («не проснутая»), неохотно вылезает из холодное внешнее пространство и, пошатываясь на слабых, как вата, ногах, направляется в сторону ванной комнаты.

– Отстань, Кость. А!-а-а-а. (зевает).

– Ты с утра холодная, как лягушка (идет на кухню и с усердием режет яичницу, пока Света делает что-то такое с головой, чтобы ей самой понравилось, – она всегда так делала по утрам и всегда вхолостую: самой себе она все равно не нравилась. Уж года три как...).

Направляется в сторону кухни. Затылок жующего мужа. Плешь. «Не люблю плешивых мужиков», – вспомнила она вдруг свою давно забытую фразу, сказанную ему же, – но тогда, когда он еще не краснел ею так отвратительно сквозь жидкие волосы.

Молча едят.

Он: «И почему мы по субботам работаем! Не могу понять: все, кого я знаю, – все отдыхают по субботам. Так хотелось побыть сегодня с тобой, мышка».

(«А последнюю фразу я знала, что он произнесет именно так, почти дословно знала, – беззлобно подумала Света. – А тут еще плешь. Он когда жует, если в это время встать, например, за солью, то видно, как краснота сверху головы передвигается, словно маленькая опухоль»).

«Я наелся! – с большим удовлетворением сообщил Константин и отодвинулся от стола.

«Сейчас поболтает минут десять, потом уйдет», – Света даже взглянула на часы, висевшие над столом, точно ставя эксперимент: уйдет через 10 или позже?

---

*Впервые опубликовано: Отражения. Сб-к творчества молодых литераторов Ульяновской области. Ульяновск, 2006. С. 9-19.*

Ушел через 11.

\*\*\*

«... Не только я это чувствую, как мне кажется. Так горько осознавать, что чувство уходит, вытекает сквозь пальцы, а ты, вместо того, чтобы спасти драгоценные остатки, растопыриваешь эти пальцы пошире: течь уж так течь!

Писать дневник, кстати, очень даже дурацкое занятие. Писатель! Только не дай Бог, чтобы она его нашла»

\*\*\*

«... И неужели он не понимает? Неужели он не видит? Иногда мне кажется, он немножечко глупый, а иногда – множечко. Ведь он – будто механизм, заведенный еще при рождении и постоянно, день за днем, делающий свои нехитрые дела. Завести, что ли, любовника? Но – зачем? Люблю ли я его? Бог знает. И да, и нет. И нет, и да – вот такая ерунда... Только бы он случайно не нашел эти записки».

\*\*\*

Сева был сантехник. У-у-у, какой ядреный, как соленый арбуз. Славился на весь микрорайон своими трудами, зубами и ляжками.

Унитазы он действительно ставил первоклассно. Потом белыми редкими зубами открывал бутылку пива (открывашек не признавал и пил исключительно этот пенистый напиток) и затем – отсюда и слава – садился при хозяевах на свое уже застывшее к этому времени произведение толстыми теплыми ляжками и опробовывал его. Громко, звучно, ядрено – у-у-у, Севка-молодец!

Его как-то действительно любили: грех не полюбить такого русского, доброго, круглого...

\*\*\*

Костя как-то вечером вернулся с работы: Сева у них пиво пьет.

(В прихожей) – Кто это, Света? (напряженно).

– Да унитаз сломался, – сантехник.

– Почему же он пиво пьет, а не делом своим непосредственным занимается?

– Да ты чё, Кость, это же Сева – его здесь у нас все как облупленного, – он так всегда, по традиции: сделает – и пиво тут же, – я сама ему и поставила, чтоб не обижался.

– Ну-ну... (Константин же был иногородний совсем, ему не до Севы).

– Он долго еще?

– Да нет, иди хоть поздоровайся с ним.

– Не хочу, – пусть доделывает или там – допивает, я потом приду кушать.

Сева (шумно): «Ну давай, Светулек. Унитаз теперь как часы будет. Чуть что – меня зови, я – шепментом».

Ушел. Сели кушать.

(Неожиданно): – По какой причине он тебя «Светульком» зовет?

– Да я его с детства знаю! («ревнует? ревнует! ха! к Севке! Ну, миленький, держись!»), он – одна из моих бывших любвей!

– («А ты – одна из его бывших б..дей!») Одна? Хм... Он что – неподалеку здесь?

– Через два дома.

– А почему я не в курсе?

– Не в курсе – чего?

– Ну, что *он* – через два дома.

– А почему ты должен быть в курсе...

– Потому! Должен! Быть! Сколько раз он к тебе унитаза приходил чинить, пока я на работе?

– Ты – дурак, Костя.

– Спасибо.

– Не за что. Приятного тебе аппетита! (Ушла из кухни. Внутри – торжество, но почему-то сосет под ложечкой).

Практически не разговаривают друг с другом уже дня три. Или четыре? Поначалу Костя был зол ужасно, затем ему стало грустно, потом – скучно.

\*\*\*

«И чего я нашел в ней? Обычная баба, каких тысячи, миллионы: бери – не хочу. Что так поторопился? А тут еще детей нет – и все тут. Как встречались – забеременела. Сделали аборт по обоюдному согласию, поскольку нужно было на ноги подняться. Затем – поженились. Год-другой все чего-то ждали, боялись: вот-вот будем крепче материальнее, а там уж заживем, там уж – «настоящая» семья!»

\*\*\*

«А все-таки я его люблю! Люблю, люблю, люблю. Такой он хороший: работающий, хотя – учитель труда не самая прибыльная профессия. Но ведь он старался, – на двух работах: в школе и в этом дурацком колледже. И домой еще сколько всего чинить приносит!.. А мебель какую он умеет делать! – ведь почти вся обстановка в нашей квартире – его рук дело...»

Мы всегда были среднего достатка. Я по профессии бухгалтер-

экономист, но долго искала работу, торговала на рынке, затем – Костя и проклятый этот аборт выбили меня из колеи. Сейчас же и страх какой-то берет идти куда-нибудь, искать подходящее место. Мне кажется, я уж и забыла все, что знала...

Так стыдно за прошедшее: вспомнила, как мы однажды были у Зинаиды Николаевны, его родственницы, на дне рождения, там я увидела великолепный мебельный гарнитур, – так я все уши прожужжала ему, пока он не собрался духом и в две недели не сотворил настоящее чудо – не отличишь от оригинала.

Однако ж я в душе тогда опять была недовольна: мне почему-то хотелось именно *купить* его. И при этом я знала, как ему трудно приходится, – тогда я даже благодарил Бога, что у нас нет ребенка: ведь тогда б мы точно что называется «не потянули». И это – вместо того, чтобы найти подходящую работу, чтобы хоть как-то облегчить его муки.

А то, что мучился, я видела очень отчетливо: страдала прежде всего его гордость.

Работу я так и не нашла, но с деньгами у нас как-то все стабилизировалось: он устроился на мебельную фабрику, бросив преподавать, и этой новой его зарплатой вполне хватает сейчас на двоих... А хотелось бы на троих! И в то же время – я боюсь: то мне кажется, что после аборта ничего не выйдет (постоянный страх, что *они* мне там что-то нарушили), то представляется, что мы впадем в нищету, если он (или она) появится на свет... Костя же молчит об этом. Ну, и я молчу...».

\*\*\*

Был вечер. Константин Николаевич в этот день ушел с фабрики необыкновенно поздно: огромные электронные часы, висевшие над проходной, показывали 22-05. Стоя на остановке, он, усталый, сначала немного злился на то, что трамвайщики, видимо, совсем забыли о своей работе, но потом вдруг поднял голову вверх, вдохнул вечернюю прохладу полной грудью – и увидел звезды. Звезды... Звезды... Константин с детства любил конец августа за его чарующие ночи, однако в последние годы он будто забыл об этом, отодвинул от себя.

А теперь – вспомнил. И хорошо так стало и протяжно на душе – петь хочется. Уснуть. Но не тем холодным сном могилы, – а так – просто распластаться по звездному гамаку и осторожно покачиваться, думая о вечности и дыша тишиной...

Небо словно приблизилось, обняло, захватило его прозрачной ладонью, и каждое маленькое пульсирующее солнце, открывшееся его чувствам в это мгновение, оказалось неожиданно знакомым, родным.

Идти до дома было всего пять остановок. Слегка взбодренный, как после причастия, он двинулся домой пешком. Несколько раз мимо него пролетали пустые и светлые трамваи-одновагонки, но Костя не замечал их.

Он шел, не чувствуя, не думая, не предугадывая того, что будет. Он не знал и не мог знать этого. Да и в силах ли ума человеческого знать о промысле Божьем? Константин свернул направо, чтобы сократить путь (однако сделал это автоматически, «как механизм», – заметила бы Света), вышел на совершенно темный, неприглядный и незаметный ни ночью, ни днем проулочек и – остановился как вкопанный.

С ним случалось такое и раньше: вот он идет куда-то, стремительно обгоняет прохожих и вдруг – стоп! приехали! полная остановка двигателей.

Это были лучшие моменты его жизни. Он не знал, бывает ли так у других людей, никогда ни с кем об этом не говорил. И не хотел говорить. Но с ним это случалось. Не очень часто, но случалось. Что-то внутри его и вне его неожиданно совпадало, амплитуды колебаний его сердца и сердца космического без остатка накладывались друг на друга, и он испытывал невыразимое счастье и наслаждение.

В буддизме это называли бы сатори, просветление.

Нельзя сказать, что Константин старался его «поймать» или «заслужить», – нет. В том-то и дело, что чем меньше он ждал его, тем острее было ощущение благодати.

Он поднимал голову вверх, безумно счастливый, и улыбался звездам, – сколь отдаленны были сейчас трудности на работе, неудавшаяся преподавательская карьера, семейные проблемы... Все казалось игрушечным, со всем хотелось возиться и играть. Любовь билась в нем, как пульс в груди пробежавшего двадцать пять километров без остановки человека.

Внешне, повторяю, это выражалось совсем непримечательно: человек идет, что называется, «рысью» (Константин Николаевич очень не любил ходить медленно), затем – резкая остановка, словно толчок изнутри. Мотор заглох. 3-5 минут – поехали снова.

Да, с ним бывало подобное раньше. Но в этот вечер появилось и нечто новое.

Все это: и тепло огромной любви, и чувство такого острого молитвенного состояния, которое само заставляет разжиматься губы и рождать благодарность Богу, и та несерьезность ко всему, что в остальное время кажется сутью жизни – все это никогда не воплощалось в зрительный образ. На этот раз было именно так.

Крупная блестящая и тяжелая капля в небе скатилась вниз с

ошеломляющей скоростью и мягко зависла над головой Кости, образовав вокруг него своеобразный нимб света диаметром до 4-х метров.

Свет был мягкий, не резал глаза, и поэтому Константин продолжал смотреть на космический корабль, зависший над его головой.

Как только в его голове промелькнула эта мысль, – о космическом корабле, – свежесть и обновляющая мягкость, которую он всегда ощущал в эти моменты просветления, бесследно исчезли, и их место заняло простое любопытство.

«Это инопланетяне?! Здорово!.. Ведь никто не поверит... Я стою, а надо мной – космический корабль инопланетян. Здорово. Ведь никто не поверит!..» – корабль все так же бесшумно висел над Константином.

«Чего они ждут?.. Эх, и устал же я сегодня, – у Кости затекла шея, и он принялся легко ее массировать. – Есть хочу... Светка ждет... Они ждут... Чего ждут?»

Корабль мягко качнулся и совершенно незаметно для глаз поднялся на высоту 50 метров. Затем растворился в темноте.

Он побрел в том же направлении, куда шел до этого.

Оглянувшись несколько раз в сторону проулочка, словно еще хранящего в своей темноте голубоватый свет космического гостя, Константин, больше не останавливаясь, помчался к дому.

Всю дорогу до родного подъезда внутри Кости билась одна поражающая его мысль: «Странно, вот я впервые в жизни воистину встретился с чем-то чудесным, уникальным, должным перевернуть мою жизнь, а я и под космическим светом думал о картошке с курицей, что сейчас, наверное, ждет меня дома. Вместе со Светой». Дома он не сказал ей ни слова о произошедшем. Она пыталась разговорить его, но он был так необычайно молчалив, что это было странно даже для него.

После ужина он сразу лег спать, чем обидел и так не на шутку встревоженную Свету.

Пока он ворочался под одеялом, Света писала в своем дневнике: «Я наконец-то поняла, в чем же несчастье нашей семьи, в чем источник всех моих обвинений в его адрес и т.д. – да в элементарной скуке. Мне скучно с ним, а ему, кажется, со мной. Чего же боле? Скука с любимым человеком – разве это не катастрофа, не парадокс, и разве это любовь? Господи, я задыхаюсь с ним, с этим заурядным...»

Прости, Костенька, прости, миленький, – он сейчас так горько застонал во сне, словно чувствуя, какие чудовищные слова я думаю и пишу... Я вас сожгу, проклятые бумажки, не хочу вам больше доверять душу!..».

\*\*\*

– Светулеч?

– М-м?

– Ты совсем проснулась?

– М-м.

– Свет, ты веришь в инопланетян? Нет-нет, ты подожди: я серьезно, - ведь неужели ты думаешь, что мы одни во *Вселенной*, что наша планета – единственное вместилище жизни и разума?.. («Дурак, что несусь, перед кем говорю?.. ведь не поймет же. Да и что было вчера? Остановился, – ударила кровь с мочой в голову – и все. Или – не все?»).

Света пошла в ванную. («Что он – оригинальничает? Пытается что-то изменить? Поздно, наверное, уже менять что-то»).

\*\*\*

Она стояла под душем, прохладные струи серебрили ее лицо, и странное чувство покоя, как тонкое покрывало, опустилось на нее откуда-то сверху.

Затем – свет. Све-ет, све-ет, - безумно много света. Свет в Свете, и свет вне ее.

Ее брали, заставляли ложиться, смотрели глаза, уши, язык, зубы, нос, влагалище... Опускали, поднимали, обрили наголо, дождались, когда волосы вырастут вновь, плохо кормили, хорошо кормили, не кормили. С ней пытались подружиться, разозлить, заставить смеяться, вызывали у нее сексуальное возбуждение, вскрывали несколько раз черепную коробку, – и долго, долго мыли ее под душем, – до тех пор, пока она не закричала и не позвала мужа.

Тот прибежал немедленно, подхватил ее, почти бездыханную, и – унес в комнату.

«Что же это я раньше? – думала Света, пока сознание совсем не оставило ее, – что же это я раньше не позвала его на помощь?»

Костя вызвал скорую, та увезла жену в больницу. И днем, когда он, отпросившись с работы, пришел в поликлинику, его ошеломили сообщением, что его жена в положении и находится на 5-ом(!) месяце беременности. «В ее состоянии, – глубокомысленно сказал ему кто-то в белом халате, кто, он не помнил, – обморок – явление нередкое, однако ей придется пробыть несколько дней в больнице, чтобы укрепить организм».

Когда он поднялся к ней в палату, она слабо вскрикнула и, обняв его, разрыдалась так громко, что медсестра вынуждена была увести Костю

на некоторое время.

Единственное, что он смог добиться от нее, – слова: «Это *они!* Они это!». На следующий день картина еще более запуталась: Света утверждала (естественно, только наедине с мужем), что ее похитили из душа, ставили над ней эксперименты и т.д.

Сначала Костя пытался осторожно намекнуть, что была она в душе не более пяти минут, но затем бросил эту затею и просто успокаивал ее, как мог...

В положенный срок Света родила крепкого мальчишку, как две капли воды похожего на отца.

Они прожили вместе еще 16 лет, после чего Константин умер, видимо, от инфаркта.

Сын – тоже Костя – сейчас пытается поступить в университет, на физико-математический. Мама очень за него переживает.



# Весна

Он сидел на скамейке, когда-то, вероятно, покрашенной в ровный голубой цвет. Небо, словно вобрав в себя цвет скамейки, напоминало о весне, и даже воздух неприятно будоражил, заставляя кровь двигаться гораздо быстрее, чем хотел он.

Он – это я.

Я медленно рассматривал эту мысль, пробовал ее, высвечивая разные цветовые рисунки на ее поверхности. Она была чуть синей, с белым облачным оттенком. И небо подтверждало это.

Оно всегда подтверждает или отвергает, но не оценивает. И слава Богу. Оценивают люди. Страдают. Любят... деньги. Или просто – любят. Второе – лучше. (Люди оценивают).

У него был обычный день. Таких – много. Один за другим. Как всегда. И не знаешь, чем начнется и чем закончится.

Ленивый день. Чем-то – интересный. Чем-то – скучный. Как всегда...

Дома – жена, ребенок.

Домой?

Как всегда. Говорят, что критерий человека – это возможность остаться с самим собой наедине и не испытывать скуки.

Элементарно. Он – не человек.

Он – бог. А... кто знает?..

Молод. Я – молод. Я – это он.

Иногда так хочется, чтобы было наоборот.

Иногда – в один из подобных дней – он думал: «Что если сегодня – последний день? Последний?! Дальше – смерть. Завтра – не будет. Изменюсь? Вскочу со скамейки и побегу что-то делать? Прощаться с любимыми? Кричать? Что?..»

Бог мой, наверное, и мой последний день будет, как этот – со скамейкой цвета бывшего голубого. И с небом... Господи! Какое хорошее небо... Как свежо, весенне-возбуждающе пахнет!

Он откинулся на спинку скамьи, положил голову на влажные брусья и унесся в небо.

Хорошо... Где-то там – Бог... Или Он везде? Во мне? В тебе? Хорошо, когда Он здесь, когда чувствуешь, что можешь просто сказать Ему:

---

*Впервые опубликовано: «Первая роса». Сб-к лучших конкурсных работ ульяновских молодых литераторов. Ульяновск, 2002.*

«Люблю Тебя, Отче!» – и всё. И молчать. И молиться.

«Как всегда» – какая чепуха!

Разве бывает *обычный* день?! Разве день может быть таким, как всегда? А если ты любишь здесь и сейчас? Если все в тебе говорит о любви – к Богу, к жизни, к земле, к сыну, еще не родившемуся, к людям. К ней.

Он сжал руками сумку, которая до этого, безвольно смявшись, сидела с ним рядом. Глаза его светлели. Он смущался улыбкой. Редкие прохожие шаг за шагом приближались к нему и, дойдя до его скамьи, уходили прочь. Он не удивлялся. Они же не знали, что день сегодня – *такой*.

«Они, – думал он, – ведь не знают, что «как всегда» – чепуха!» – и снова глядел в небо. Он понимал, что уже опаздывает, но не спешил. Куда спешить?

«Господи, – думал он, – а ведь так просто понять, что «как всегда» – это ложь. Что обычных дней нет, что есть день, который ты живешь и в который можешь умереть, совершить ограбление, пожертвовать на храм, купить мороженое, ворваться в аудиторию с криком: «Пожар!», спасти утопающего, стукнуть по голове свою собаку, а затем плакать и просить прощения, любить любимую, сходить к стоматологу, уйти из дома, повеситься, сказать: «Да», поклониться прохожему, сесть рядом с нищим и просить подаяние, прочитать книгу, бегать вокруг леса, поехать автостопом, куда предложит водитель, напиться вдребезги, родить или зачать ребенка, затянуть потуже ремень, сыграть в лотерею, толкнуть соседа по трамваю и поругаться с ним или пасть перед ним на колени с раскаянием в глазах; пошутить о смерти...».

Начал накрапывать мелкий холодный весенний дождь, часы показывали десять минут пятого. Он медленно приподнялся, взял сумку, соскользнувшую с влажных брусьев скамейки, и пошел в сторону центра города.

Недалеко Волга, пробуждаясь, сбивала с себя лед, и тот, ссутулившись, покрывался трещинами.

Рыбаки, беспечно расположившись ровно посередине реки, искусно разыгрывали сцену рыбалки; облачный дым в нескольких стах метрах над ними немного рассеялся, гостеприимно пустив солнце к земле; огненный шар с бесконечными протуберанцами обнимал девять своих пленников; десятый, слегка задетый его гравитационным полем, плавал в миллионах километрах от последнего – Плутона. Бесчисленная череда звезд сливалась в голубовато-белую реку, напоминающую пролитое молоко, и мириады солнц спокойно, величаво и ласково несли свой свет друг другу.

Он шел к центру города, с болью замечая, как тает ненадолго

проснувшаяся ясность любви и жизни, шел, не зная, что в трех километрах от него машина задавила женщину, а в пятистах двадцати парсеках от города произошло землетрясение, погубившее мир; не зная, что ребенок, которого он ждет, не родится, что проживет он еще 11 лет 4 месяца 15 дней...

Он шел, темнота раннего вечера медленно сгущалась, и обычный день подходил к концу.

Он не сожалел, что радость так быстро исчезла, ибо знал, что это – только настроение, оно мимолетно, а любовь, которая живет в его сердце, та – вечна...

Он лишь хотел, чтобы таких, обыкновенных, дней было больше в его жизни, и тогда никакие беды не способны будут сломить или хотя бы поколебать его душу.

И я забывал, что он – это я, а он и не вспоминал обо мне.



# Как если бы...

*Посвящается маме*

*«Но преобразуйтесь обновлением ума вашего...»  
(Послание к римлянам, гл.12:2)*

Для меня никогда не составляло труда поставить себя на место другого. Например, я всегда обостренно чувствовал чужую боль (почти физически, даже физиологически). Если это была боль близкого мне человека или любимого животного, то я переживал ее неоднократно. Когда вокруг меня говорили о воровстве, я очень часто боялся, что заподозрят в совершении преступления именно меня. Затем, когда такая позиция, внутреннее мое поведение стали эволюционировать, развиваться (ведь при росте человека растут и его проблемы, акцентуации характера) я начал понимать, что ощущаю себя в подобных случаях не просто как человек, который боится, что его заподозрят, но как тот, кто играет того, другого, в действительности виновного, но имитирующего невинного. Со временем границы между игрой и реальностью стали размываться.

Сначала я удивлялся и поражался этому: ведь я-то знаю, что я не вор, знаю, что я не обманываю, но внутренне я ощущал себя так, как если бы совершал все эти преступления.

Я старался не думать об этом, боролся, но судьба словно нарочно сталкивала меня с ситуациями, в которых тема вероятного преступления возникала нередко (а может быть, моя обостренная чувствительность многократно усиливала влияние каждого подобного события).

В любой ситуации возможного подозрения (даже в супермаркете, когда на мне останавливался безразличный взгляд охранника) внутри меня срабатывала какая-то программа, и я бледнел при одной мысли о том, что некто может подумать обо мне как о преступнике.

Я действительно боролся с этим; четко осознавал, что это ненормально, что нужно менять себя и свое внутреннее поведение, иначе недалеко до беды. Но всё было бесполезно...

Естественно, я анализировал возможные причины этого: в самом деле, что заставляло меня так болезненно ставить себя на место виноватого, ощущать всё то, что может чувствовать потенциальный преступник?.. Но не находил ответа.

Эта моя склонность находила отклик и в художественных

---

*Публикуется впервые.*

произведениях и даже телепередачах. Мне было достаточно услышать о болезни ног, как я тут же чувствовал, что ноги охватывает неподдельная слабость, в икрах или ступнях возникали волнообразные боли и т.п. – в общем, симптомы совпадали с тем, что описывалось в рассказах и кинофильмах. При виде человека, стоящего на краю пропасти или на крыше высокого дома, сердце сжималось и мне становилось физически плохо...

В возрасте 16-17 лет такая моя особенность получила мощную поддержку со стороны сновидений.

Помню целую серию снов, в которых я чувствовал себя совершенно другим человеком – как внешне, так и внутренне. Я работал в каком-то офисе и был жутким бабником и ловеласом; соблазнял женщин не столько из-за стремления к удовольствию, сколько с целью получить мелкую выгоду, – вплоть до того, чтобы заработать лишний «бонус» в виде офисной бумаги от кладовщицы или просто «на всякий случай».

Фактически я прожил целую жизнь этого донжуана и в итоге очень детально, изнутри пережил духовную катастрофу, внутреннее состояние человека, который пришел к полному жизненному краху и не знает, как его преодолеть – потому только, что не ведает другой жизни.

Меня поразил не сам сюжет и даже не то, что в течение ночи удалось «пробежать» целую судьбу, а то, насколько глубоко я сросся во сне с внутренней сущностью этого человека, насколько реалистично и с какой неподдельной искренностью я переживал все его взлеты и падения. Не было никакого разделения на сновидца и персонажа сновидения: во сне я – это был он, только и всего.

Примерно через год я испытал новую серию снов, которые не просто взволновали меня, но и существенно повлияли на мое мировоззрение, относительно четкую систему взглядов на ряд вопросов.

В сновидении я прожил жуткую жизнь маньяка, убивающего детей. Поразительны были даже не внешние обстоятельства и отвратительные подробности, а изматывающее душу сопереживание этому персонажу. Это был еще один вариант духовной катастрофы, из которой нельзя никак выбраться – по крайней мере, без внешней помощи.

Проснувшись, я начал размышлять о проблеме наказания за такие чудовищные преступления. И в очередной раз пришел к выводу о необходимости физического уничтожения за эти поступки – подобно тому, как вырезают раковую опухоль. Другого способа борьбы с этим злом (так, чтобы максимально устранить эту конкретную опасность) человечество, я был в этом уверен, еще не придумало.

Так я думал ранее, но сон внес и нечто новое: я понял, как глубоко

(безумно глубоко!) несчастны эти люди, то есть сумел встать на их позицию – не абстрактно, не философски, а предельно конкретно и совершенно не разделяя себя и их: я и был одним из них...

Сказать, что меня это напугало, – значит, ничего не сказать. Учитывая мою способность наяву чувствовать себя преступником, ничего кроме страшных угрызений совести за свою «принадлежность» к маньякам, я не испытывал.

Как, как жить с этим далее?! Этот вопрос меня волновал все более... Зачем мне дана способность проживать жизни других так обостренно? После длительных размышлений я понял, что должен найти какой-то выход, какую-то реализацию этой моей склонности, иначе либо сойду с ума, либо найду способ покончить с собой.

Первое, что приходило в голову в качестве возможного выхода – искусство, создание вымышленных миров, жизнь героев которых я мог бы проживать, как свою, и тем самым освобождался бы от излишне обостренных ощущений реальной действительности. Неожиданно вспомнилось, что когда-то, будучи еще подростком, я пробовал себя в прозе. Но что... но что если у меня нет таланта? Плодить бездарные рассказы, от которых и без того душно любому читающему человеку?..

Недолго, однако, сомневаясь, я действительно принялся сочинять нечто в прозе. Получалось скомкано, неумело и по-детски; мне хотелось поскорее приобщить читателя к сложности и яркости своих эмоциональных переживаний, я забывал о сюжете, жил и дышал вместе с героями, поспешно перекладывая воображаемое на бумагу... Когда я писал, то видел происходящее так живо, так убедительно, что не рисковал утяжелять свои сюжеты убийствами и болезнями, поскольку боялся – кроме шуток! – не дожить до следующего эпизода. Написанное казалось мне верхом совершенства, шедевром, – но так, конечно, было только непосредственно во время создания рассказа. Стоило мне вернуться к наброскам, как весь энтузиазм развеивался, словно дым, хотелось всё бросить, всё казалось бессмысленным, безобразным и никому не нужным. Я с удивлением перечитывал созданное и спрашивал себя: неужели эти бессвязные, написанные будто в угаре эпизоды – то самое, что видел я в своем воображении? Неужто это я так сделал, – и все так плохо, и так глупо...

Оставалось только немедленно уничтожить рукописи и файлы с набранными текстами. И потом я сожалел вдвойне – и о том, что потратил время на написание рассказа, и о том, что в итоге уничтожил его.

Впрочем, несомненная психологическая польза от этого всего была: я стал более спокойно относиться к невольному сопереживанию чужой

боли или преступления. В первое время мне даже показалось, что, «переводя в искусство» обостренную способность ставить себя на место другого, я практически избавился от этой патологии, мешающей мне нормально существовать. Обрадовавшись, я тут же забросил сизифов труд по созданию никому не нужных рассказов: «Инерция должна довершить всё остальное: я научился компенсировать свои способности, указав им верное направление! Дело за временем!».

И в самом деле я стал замечать, что теперь увереннее чувствую себя в магазинах. Я даже с нетерпением ожидал ситуации, которая поставила бы меня на место «подозреваемого»: тогда бы я смог окончательно убедиться, что избавился от пагубной особенности своего характера!

Но такого события всё не случилось, зато произошло нечто другое: я влюбился. Мы учились уже на последнем курсе, и до этого времени, озабоченный всех более самим собой, я совершенно ее не замечал. Теперь же Лена показалась мне любопытной и даже – странно-привлекательной, а затем я уверил себя, что жить без нее не могу и, к крайнему своему удивлению, с таким задором и удалью принялся ухаживать за ней, что буквально за месяц отбил двух-трех ее постоянных сопутников, а затем – предложил пожениться.

После свадьбы (была тихая роспись и с десятков приглашенных с обеих сторон) мы перебрались на снимаемую квартиру в северной части города. Вечерами я ловил себя на том, что украдкой смотрю на Лену и не могу понять, как же это могло так случиться: я столько лет жил один и вдруг – нас двое?.. Затем родился Владик, и семейные заботы совершенно оттеснили на периферию мое болезненное самокопание, чему я втайне радовался безмерно...

Спустя несколько лет случилось это в общем-то мелкое событие, которое, однако ж, потрясло меня и снова пробудило вроде бы забытые способности. Жена с Владиком попали в пустяковую аварию: маршрутка затормозила слишком резко и слишком поздно. Владик с небольшим ушибом ноги и шишкой на голове был доставлен в травмпункт, откуда они вернулись с самыми благополучными прогнозами. Что случилось со мной, почему это так повлияло на меня – трудно сказать. Сын и раньше иногда болел, однако же я никогда не ощущал его симптомов на себе (по крайней мере – так остро, так до невыносимости явно): мне потому и было комфортно и легко с семьей, что жил я с ними, почти не чувствуя их, не переживая за них так, как соперничал чужой боли и преступлениям когда-то. После аварии я более недели хромал и мучался с посиневшим лбом – до тех пор, пока Владик полностью не избавился от следов аварии.

О том, чтобы сказать обо всём этом Лене, не могло быть и речи (хотя

она, конечно, что-то заметила и пыталась расспросить, например, о причинах моей хромоты). Я же надеялся, что избавлюсь от этого, забуду, как бы «заговорю» сам себя; лишняя же беседа с кем-либо на данную тему только бы раздражила меня и, чего я ужасно боялся, активизировала бы полузабытые способности.

Когда через некоторое время жена порезалась на кухне, а я, будучи в зале, схватился за свою левую руку и увидел на указательном пальце кровь, – тогда прежнее беспокойство и ощущение внутренней пружинной «сжатости», которое было обычным для меня во время моей холостяцкой жизни, с новой силой вернулись и не оставляли меня уже ни на минуту.

Желание уйти из семьи созрело быстро и как-то само собой. Я слишком боялся за них, слишком любил и переживал... Впрочем, впоследствии, не раз вспоминая случившееся, я приходил к выводу, что, скорее, боялся за самого себя и переживал лишь о себе. Да и как, как обнаружить четкую грань между тем и этим, когда я и сам не мог понять, где же заканчиваюсь «я» и начинается, к примеру, «мой сын»? Крайняя и болезненная острота моего сопереживания усилились многократно, – словно прежние способности мстили мне за годы своего пренебрежения и неиспользования.

Я выбрал день, когда в очередной выходной жена с сыном отправились к теще (она жила на другом конце города). Вещей с собой взял немного: в основном, книги, ноутбук и разную мелочь, которая могла пригодиться в первое время. Какой-либо записки, объясняющей мой внезапный уход, я не оставил, поскольку хотел обрезать все связи разом: так оно, может, сначала и больнее, но зато потом, как я надеялся, можно будет не бояться проявлений излишней чувствительности.

Далее я размышлял таким образом: если мои способности связаны с сопереживанием другим людям, необходимо просто устранить этих других людей из своей жизни. Элементарно!

– В самом деле: ну, не могу же я устроить себе келью в каком-нибудь глухом сибирском лесу? – думал я в тот момент. И приходил к странному выводу, что мог. Мог бы! Найти место, далекое от людей; Сибирь – место самое подходящее. Буду жить охотой и собирательством, изредка выходить в ближайшее полузаброшенное сельцо и выменивать продукты!.. Бред? Конечно же, романтический, полусумасшедший бред! Но другого выхода я пока не видел.

Для начала я решил снять дешевый номер в привокзальной гостинице нашего городка, где мог бы спокойно в течение ночи обдумать, как жить дальше. Мне было совершенно понятно, что я нахожусь на грани и могу наломать дров. Я, к удивлению, очень быстро осуществил задуманное и,

уже сидя за чашкой чая в гостинице и сменив симку в сотовом, предавался размышлениям о своей дальнейшей судьбе. Конечно, нужно уехать из города. Это – однозначно! Чем меньше знакомых, тем лучше. Как-нибудь потом, заочно оформлю и выписку из квартиры и т.п., – если, конечно, все это вообще понадобится.

С другой стороны, вот, к примеру, «жить буду охотой!» А так разве я умею охотиться? Да разве я смогу убить кого-нибудь? Да я вместе с первым же зайцем или птицей упаду на землю и буду чувствовать ровно то, что переживают они! Где же выход? А может, попробовать все-таки снять как-нибудь эту чувствительность, заглушить способность сопереживать. Но как? Алкоголь, наркотики, медитация – всё это давно испробовано, еще в молодости, и только обостряет эту мою треклятую чувствительность. Монастырь? Церковь? Но там-то что? А может и съездить? Может, поговорить? Ведь, по сути дела, я ни с кем (ну, за исключением нескольких полупьяных разговоров с приятелями) не касался данной темы, не исповедовался! Вот оно: это ключевое слово-то! Найдено! Пойду на исповедь? Да, но к кому? В какую церковь? Да и что мне скажет этот, в рясе? Сколько у него таких, как я, – за день-то? За душевнобольного сочтут ведь. Вот! Вот то, чего я боюсь, от чего бегу!..

Постой! И тут я поймал себя на интересном соображении: а что если оно так и... Ну, нет! Акцентуация характера в подростковом возрасте, затем дозревшая до психологического заболевания? Что же. Интересная версия. Но не то это, не то! Ведь я же объяснял, писал уже: эта какая-то необыкновенная, доходящая до патологии форма со-чувствия!

«До патологии?..». Меня бросило в холодный пот, захотелось свежего воздуха. Я подошел к окну, открыл форточку и, прижавшись к стеклу лбом, стал рассматривать огоньки на привокзальной площади. Интересно, Лена уже дома? Теряется в догадках, где я, что со мной? Что же делать?

А что если вся эта моя чувствительность – выдумка чистой воды? Продукт самокопания и излишнего внимания к самому себе и собственным ощущениям? Ведь смог же я вычеркнуть эти способности из жизни на несколько лет! Значит, я могу – при большом желании, конечно, – искоренить это в себе и сейчас – или хотя бы ослабить! Эта мысль почти ободрила меня, я вдруг на секунду вообразил себе возможность возвращения в семью и поймал себя на бессознательно сделанном движении в сторону чемодана – словно собрался бежать к жене и сыну прямо сию секунду! Почему-то из-за этого движения я принялся обвинять себя в трусости и слабости и даже в горячах назвал себя «подкаблучником», что рассмешило меня и временно сняло психологическое напряжение.

Что же делать? Если семейные заботы сумели меня настолько отвлечь, что мучительные мои способности остро сопереживать почти забылись, то неужели нельзя придумать и еще нечто такое, что заняло бы меня так же, а то и глубже, и сильнее? Ведь был же я готов бежать из-за этого в Сибирь, чуть ли не к Агафье Лыковой (тут я снова улыбнулся)! «Конечно, я выкарабкаюсь!» – уверял себя я. – Безусловно, что-нибудь выдумаю: мало ли занятий, в которые можно уйти с головой, забыв обо всем на свете...».

Была уже глубокая ночь. Тишина иногда прерывалась переговорами вокзальных работников по громкоговорителям и стуком колес поездов; откуда-то доносился редкий и приглушенный собачий лай. Я вдруг очень ясно, необычайно отчетливо осознал время и место, в которых я пребывал. Так и не поняв тогда, как именно сумел это сделать, я неожиданно заметил, что как бы расту, расширяюсь (причем во все стороны разом!): я выбрался за пределы номера, потом занял всю гостиницу целиком и, наконец, овладел всем вокзалом. Я и был в ту минуту вокзалом: это по мне, моему телу, громко и однообразно стуча колесами, пробежали редкие товарняки; на моих сиденьях, скрючившись в неестественной позе, спал пожилой бородатый мужчина, словно припаянный к ручке своего чемодана. Это я лял вдалеке – лял просто так, от тоски и холода на привычный шум поездов; это я летел над железнодорожными путями, размахивая чуть влажными от ночной сырости черными крыльями. Я ощущал (или вообразил, что чувствую) общее настроение старого вокзала – странную печаль, воспитанную ежедневным ритмом стальных колес, который сопровождал меня вот уже несколько десятилетий...

Очнулся я на рассвете. Уличные фонари потухли, и серый, туманный рассвет поздней осени понемногу расплылся по вокзальной площади, которая вся, как на ладони, была видна из моего окна. Я тут же вспомнил про свое «расширение». Был ли это сон или новое проявление моих способностей? Сопереживать какому-то месту, целой совокупности живых и неживых существ одновременно – причем так, чтобы всё до детали чувствовать и осознавать, – это действительно было нечто новое для меня. Я впервые получил некое едва ощутимое удовольствие от своей обостренной чувствительности, от которой мне так долго хотелось избавиться.

«Может, это один из способов «приглушения» способностей, точнее – перенаправления их в нужное русло? – подумалось мне. – Ведь такое сопереживание не ранит душу, от него не выворачивает наизнанку, от него не больно!...».

Так вот чего я боюсь – боли, неприятных чувств! Вот уж не подлость ли? Не изнеженность ли? Вспомнив, однако, моменты, связанные с

воровством и другими преступлениями, я частично отверг эту мысль. Да, конечно, обыкновенное стремление избежать боли здесь присутствует, – и, наверное, это достаточно естественно для любого человека. Но посмотрел бы я на того, кто смог бы спокойно относиться к тому, что периодически полностью отождествляется с ворами и убийцами...

А боль? Зачем мне чужая боль? Ну, семья, близкие люди, – это я еще могу понять. А боль, изображенная в книге или в кинофильме? Это-то зачем мне так остро чувствовать! Если бы знать... Где же выход?..

Я решил остаться в привокзальной гостинице еще на сутки. Позавтракав, я заплатил за номер и, едва показавшись на улице, снова вернулся к себе. Утренний шум раздражил меня и заставил вспомнить о работе, на которой я не появлялся со вчерашнего дня, сославшись на болезнь.

«Вот ведь если бы я по-настоящему собрался покинуть город, то разве я заранее бы не уволился, не подготовил бы всячески свой уход из семьи? – рассуждал я сам с собой. – Или в действительности я этого не хочу и только разыгрываю перед самим собой какой-то глупый спектакль?».

Впрочем, мысль со спектаклем показалась мне дикой: я-то знал, насколько я доведен всеми этими переживаниями, на какую грань поставлен... «А собственно – на какую такую грань?» – снова подумалось мне. – Вот ведь я уже почти сутки не испытываю своих «припадков» сопереживания! Может, и нет их вовсе? Может, исчезли они или всё это время только воображались мною?».

Мгновенно созрело решение «испытать» себя: нужны были люди, а где как не на вокзале их можно было встретить? И я пошел на вокзал...

Пройдя мимо кассы, я вышел в самый большой зал, в котором находились расставленные рядами кресла для ожидающих поезда. В это послеполуденное время людей было порядочно и любой из них мог стать «объектом» моего эксперимента. Быстро оглядев зал, я увидел несколько свободных кресел и уселся на одно из них. Напротив меня сидела пожилая женщина в серой пуховой шали и черном пальто. Рядом с ней – девушка, почти девочка – лет 14-15, видимо, ее дочь. Судя по усталым лицам и скучающему, немного туманному взгляду, ожидали они своего поезда уже достаточно давно, может быть, с утра. Девушка была милостива – белокурая, с тонкими, немного мелкими чертами и голубыми глазами – однако некоторая общая озабоченность ее движений, молчаливость, морщинки, то и дело проскальзывающие возле уголков губ, как-то старили ее и приземляли.

Всё это я рассмотрел как бы между делом, вскользь, стараясь создать видимость полной моей незаинтересованности и рассеянности. Встав, я

прошелся до киоска с газетами, купил первое, что бросилось в глаза, и вернулся на прежнее место. Мать за это время успела куда-то исчезнуть, оставив дочку вместе с сумками. Судя по всему, уход матери заставил мою «наблюдаемую» полностью сбросить с себя оцепенение, вызванное долгим ожиданием, что, впрочем, только усилило впечатление некой ее обеспокоенности. Я обрадовался тому, что девушка осталась одна, поскольку это позволяло без труда начать «сопереживать» ей.

Детально описать то, как именно я это делаю, мне сложно: никаких особых приемов я никогда не использовал. Мне было достаточно просто побыть рядом с человеком или немного «включиться» в сюжет просматриваемого фильма или читаемой книги, чтобы сочувствие возникало само собой. Насколько я понимаю, так происходит и у многих других людей, просто у меня этот процесс напоминал ураган – по чудовищной силе и неожиданности возникновения, а также по тем губительным результатам, которые я всегда обнаруживал внутри себя: личность моя коверкалась, боли были продолжительные и совсем не виртуальные, укоры совести за совершенное не мною – изнурили и убивали любовь к жизни...

Прошло минут 5-10, и ничего особого я не ощутил. «Может, мне просто непонятна причина ее обеспокоенности? Или, возможно, сама эта суетливость и печаль только выдумана мною, а в действительности девушка просто устала ждать поезда?» – размышлял я, внутренне уже надеясь, что способности снова ослабли или – о, радость! – окончательно покинули меня.

«Почему бы нет? – снова подогревал я свою надежду. – Ведь уход из семьи, все эти ночные размышления и «расширения» – значительный стресс для моей психики. Должно же наконец-то сработать нечто подобное самозащите!».

Обождая еще минут 10, я понял, что единственный способ узнать наверняка, прав я или нет – вступить в беседу с миловидной соседкой. Я решительно свернул газету и, пересев на ближайшее к девушке кресло, с самым непринужденным видом осведомился не в курсе ли она, когда прибывает поезд из столицы. Девушка помолчала несколько секунд, видимо, соображая, зачем я подсел к ней и как именно ей следует отвечать, и наконец, не нашла ничего лучшего, как покачать головой.

– А то, знаете ли, я приезжий, из Самары. Приехал на автобусе к родственникам, а где железнодорожный вокзал совершенно не знал. Представьте себе, заблудился по дороге сюда – не на тот трамвай сел! – тут я самым глупейшим образом расхохотался, скорее, над тем, как неумело вру, чем собственно над самой возможностью перепутать

единственный трамвай, который ходил сюда с автовокзала. – Хочу встретить друга-москвича, он должен вроде бы прибыть днём да только не знаю, каким именно поездом!

Я добавил еще несколько фраз в таком же духе, после чего девушка скороговоркой и с каким-то едва заметным испугом сообщила мне, что рада была бы помочь, но лучше мне обратиться в справочную, поскольку на то она и есть, чтобы именно там разрешать подобные затруднения.

– Кстати, – добавила она совсем некстати, потому что говорила это явно для того, чтобы лишний раз напомнить мне о том, что на вокзале она не одна и ее есть кому защитить, ежели что, – особенно от таких типчиков, как я, – моя мама сейчас как раз там!

– Что вы говорите! – обрадовался я так искренне, что сам на мгновение поверил в свои актерские дарования. – Тогда я дождусь ее возвращения, чтобы узнать, стоит ли туда идти: вдруг там очередь большая!

Девушка пожалала плечами и, по всей видимости, решив, что на этом тема исчерпана, принялась усиленно копать в сумках в поисках чего-то спрятанного на самом дне – ясная демонстрация нежелания дальнейшего общения. Тогда я решил сыграть ва-банк и спросить в открытую: почему-то мною овладела уверенность в том, что навряд ли я этим сильно напугаю ее.

– Послушайте, – начал я самым обыденным тоном – так, словно знал ее тысячу лет и спрашиваю о чем-то совершенно тривиальном, – мне показалось, что вы чем-то озабочены, точнее даже сказать – обеспокоены. Наверное, это связано не только с ожиданием поезда, но и с чем-то еще – более серьезным. Не могу ли я помочь вам?

Девушка замерла и снова тревожно взглянула на меня. Потом она, уже не скрывая испуга, кинула взгляд в ту сторону, куда, вероятно, ушла ее мать.

– Нет, нет, – самым дружелюбным тоном поспешил успокоить я. – Вы не подумайте, что у меня есть какие-то там глупые намерения. Понимаете... Понимаете, я провожу что-то наподобие эксперимента... В некотором роде, так сказать. Да, да, психологического эксперимента!

Брякнув это, я вдруг увидел, что лицо девушки мгновенно прояснилось и она улыбнулась.

– Так вы из какого-нибудь университета? А из какого, если не секрет? Что-то похожее на социологический опрос?

Я поспешил согласиться, соврал что-то насчет кафедры психологии и т.п. Получилось, тем не менее убедительно, поскольку я действительно в свое время имел дело с психологами местного университета: было какое-

то совместное мероприятие с участием СМИ и т.п.

– Что же именно вас интересует?

– Вы! – вырвалось вдруг у меня. – В том смысле, что ваше конкретное, вот в эту самую секунду содержание сознания, точнее – ваши переживания. О чем, собственно говоря, вы сейчас думаете и чем озабочены? Только мне надо поточнее и искренне, – заторопился я, сбиваясь и путаясь в мыслях. – Таковы требования эксперимента! – секунду помолчав, добавил я.

Затем я замер в ожидании ответа, словно от решения моей новой знакомой зависело очень многое, – вся моя дальнейшая судьба. Несколько секунд девушка недоверчиво рассматривала меня. Я уже почти представил, что она сейчас просто пошлет меня куда подальше, а то, чего доброго, позовет на помощь. Однако же ничего подобного не произошло: это миловидное создание разулыбалось и, немного порозовев, произнесла:

– Как-то это трудно... Так сразу... А что если это личные переживания? Если мне... как-то стыдно об этом говорить?

– А вы можете без подробностей, без имен: просто самую суть, этого вполне достаточно, – затараторил я. Девушка помолчала, как бы решаясь, потом несколько раз посмотрела в сторону выхода, где, вероятно, располагалась справочная, а затем, понизив голос, сказала:

– Ну, есть некоторые проблемы, так скажем... В общем, мы собираемся уехать вдвоем с мамой. От отца. Он не знает, конечно. Мы, точнее, мама... Они, в общем, в ссоре, поссорились и даже подрались, – она снова помолчала, а потом добавила – так, словно объясняла этой последующей фразой самый смысл всей истории. – Он у нас рыбак и пьет. Вот.

Я был в полном восторге. Итак, налицо конкретные, сильные и значимые переживания, а я так ничего и не ощутил, да и сейчас, во время общения с ней, ничего, кроме откровенной радости, не чувствую. Видимо, мое состояние не укрылось от девушки, поскольку в ее глазах снова мелькнула тревога.

– Вы... вы как будто бы даже обрадовались этому? – спросила она в каком-то замешательстве, и лицо ее приняло прежний усталый-обеспокоенный вид.

– Это, это... я... Просто это то самое, что я искал! – пробормотал я, почувствовав, однако, достаточно болезненный укол совести. – Идеальный случай для эксперимента! Ведь я как раз и занимаюсь семейными конфликтами, – выпалил я и понял, что, кажется, начинаю завираться окончательно. Мне захотелось поскорее распрощаться с собеседницей и вернуться к себе в номер. Я даже привстал, почему-то делая это так осторожно, словно опасался утратить и «расплескать» мое так с

трудом обретенное чувство свободы от излишнего сочувствия окружающим. Однако тут произошло нечто совершенно мною незапланированное: заметив, что я поднимаюсь, она вдруг едва заметно прикоснулась к моей руке своей маленькой ладошкой и произнесла:

– Если так... Если вы такой, – ну, по семейным конфликтам, – тогда, может, вы нам и поможете? Особенно моей маме? – глаза ее засветились каким-то новым чувством, будто она отыскала выход из затруднения, так мучившего ее. – Ведь она совсем-совсем не хочет уезжать... Да и не знает точно – куда... Да и я не хочу никуда ехать!.. – последнюю фразу девушка проговорила почти плача и как-то просительно, словно и вправду я, мои слова и решения могут как-то, ну, хоть совсем немного, но все же изменить эту непростую ситуацию.

В то самое мгновение, когда девушка произнесла последние слова, я почувствовал, как тысячи холодных игл пронзили мне позвоночник, а затем шея – там, где она переходит в основание головы, вдруг словно остекленела. Я машинально принялся массировать себе подзатыльник правой рукой, на секунду совсем забыв, где я, кто я и зачем здесь нахожусь. Собеседница, видимо, заметив мою внезапную бледность, вновь не на шутку встревожилась.

– Что вы... Я... Я расстроила вас? – пробормотала она и вдруг хмыкнула в кулачок, удивившись нелепости своего вопроса. Однако же я совершенно серьезно кивнул головой.

– Если бы вы знали, насколько... – тоскливо произнес я. – Извините, пожалуйста! – спохватился я. – Я... я размышляю, как бы помочь... вам.

«Помочь? А почему бы не помочь?» – подумалось мне. В первую очередь я был поражен очень странным (по крайней мере, я воспринял это как некий знак) сходством их жизненной ситуации с моей: я тоже беглец из собственного дома; тоже растерян и также, в общем-то, не представляю, куда ехать и стоит ли. Мысль о том, что я могу как-то помочь беглянкам, неожиданно вдохновила меня и откуда-то появилась энергия и уверенность, каких я до того момента и не подозревал в себе.

– Послушайте! – почти торжественно произнес я. – Я знаю, как решить вашу проблему!..

В это самое мгновение я услышал вопросительное: «Извините?». Передо мною стояла мать моей молоденькой собеседницы, появившаяся словно из воздуха. При взгляде на меня в лице женщины, помимо привычной усталости, появилось и недоумение. Я помолчал несколько секунд, подбирая слова, но тут вмешалась дочка и затараторила так скоро и часто, что буквально в минуту уложила всё: и моего мифического столичного друга, и психологию семейных конфликтов, и эксперимент, и

Бог ведь что еще.

– Света, я ничего не поняла! – призналась пожилая женщина, присаживаясь рядом с нами (я попытался вскочить, но неугомонная девчонка усадила меня снова). Мать произнесла это всё так же устало, но уже как-то добрее, словно она и сама рада какому-то непонятному изменению в этой суматошной неопределенности последних часов.

Я взял инициативу на себя и кратко, а главное – уверенно рассказал о «психологическом эксперименте», закончив ровно следующим:

– Я обещаю решить вашу ситуацию буквально за сутки: ни в коем случае не нужно никуда уезжать!

– Послушайте... – протянула женщина, растерянно глядя то на меня, то на дочь. – В общем-то, я сейчас как раз собралась покупать билеты. Поезд будет вечером... Мне совершенно непонятно, что вы будете решать, а главное – как! И зачем это вы...

– Очень просто, – продолжал я вдохновенно и так убедительно, что случись мне увидеть себя со стороны, я бы искренне удивился такому своему ораторскому таланту, – в привокзальной гостинице мы снимаем номер для вас двоих. Естественно, за мой... то есть за счет средств от научного гранта, на которые и проводится мой эксперимент, – тут я сбился, немного покраснел, но вдохновение меня не покинуло, и я продолжил. – Далее мы проводим с вами беседу, – ну, с вами и Светой, конечно, – я почти покровительственно посмотрел в сторону молоденькой дочки. – Затем, используя современные психологические методики, я улаживаю ваш семейный конфликт – так, чтобы он гарантированно не возникал в дальнейшем. Причем всё – в рамках эксперимента, всё абсолютно для вас бесплатно. Польза обоюдная: вам не надо ехать в неизвестность, а мне – отличный материал для исследования! Вы потеряете всего лишь день, может быть, только один вечер!

Женщина с каким-то удивлением поглядывала на меня во время моего выступления. Однако к завершению речи (по крайней мере, мне так показалось) в глазах ее уже, кажется, не было столь явного и вполне понятного недоверия ко мне. Когда я закончил, она произнесла, покачивая головой:

– Вы совершенно не знаете моего мужа. Света что-то наболтала вам совершенно непонятное... Да и вообще... – она строго и осуждающе покосилась на дочку. – Я обязательно ей запрещаю на будущее разговаривать о семейных проблемах с первым... С неизвестными.

– Послушайте! – снова вдохновился я, говоря так, будто от этого и впрямь зависело решительно всё, вся моя – да и их! – жизнь. – Давайте так: если вы мне не доверяете, – да я бы и сам, поверьте мне, и сам себе не

доверял бы: уж больно я, вероятно, странно выгляжу, да и ситуация необычная – вокзал и кассы эти... Ведь все равно поезд только вечером: вы можете сейчас купить билеты, а до вечера, я уверен, всё, абсолютно всё изменится – и мы всегда сможем эти билеты потом сдать обратно. Все денежные потери я беру на себя, всё, решительно всё компенсирует грант! – опять вставил я это словечко, всем тоном показывая, что за ним, за грантом, стоит нечто очень значительное и просто буквально требующее доверия.

Женщина отвела от меня внимательный взгляд, как-то растерянно взглянула на дочь, зачем-то схватилась за ручку сумки, снова ее выпустила, потом машинально начала поправлять свою шаль и, наконец-то, видимо, решившись на что-то, сбивчиво произнесла:

– Я даже не знаю... Сейчас всё так сложно, мы с дочкой в растерянности... Вы производите впечатление серьезного молодого человека, но предлагаете... Немного необычно. А сейчас столько мошенников, этих организаций дурацких, – затем она быстро взглянула на меня и, отвернувшись и немного, вероятно, сконфузившись, добавила: – Вы не подумаете, пожалуйста, денег у нас... и нет никаких почти... А документы у вас... ну, подтверждающие как-то...

– Да и не надо денег, что вы: я же говорю, всё – грант! А документы – ну, конечно, всё у меня есть: там и образование, и паспорт! Но по эксперименту, вы это прекрасно понимаете, – только научные труды, их же не предъявишь. Всё у меня в номере! – проговорил я торопясь и как-то развязно, словно высказывался уже о чем-то давно решенном.

– В номере? – отозвалась собеседница.

– Ну, конечно! Ведь не вы первые! Эксперимент проводился неоднократно, и пока удачно. Вокзал специально выбран мною: место отъезжающих и приезжающих, знаете ли... Проблемы разные и очень интересные... Вы о профессоре Михайлове слышали? – соврал я в очередной раз и даже почувствовал какую-то тоску от такого количества лжи. Я решил, что на этом остановлюсь: нет – так нет. Иначе это становится уже подозрительным и... тягостным.

– Хорошо! – вдруг решительно произнесла женщина, даже не ответив на мой последний вопрос. Я заметил, что оцепенение, которое казалось мне постоянной чертой, исчезло из ее фигуры и лица. Меня это приободрило. – Сейчас я... я с дочерью пойду покупать билеты, а с вами давайте договоримся о встрече на этом же месте через... минут через 50!

– Отлично! – я вскочил с места, широко и счастливо улыбнулся и, распрощавшись, быстрым шагом, почти бегом направился к гостинице. На какие-либо подробные размышления о том, что же именно я делаю и

какова истинная цель всего этого, у меня пока не было времени (вернее – я себе просто не дал возможности остановиться и подумать об этом). В гостинице я быстро договорился о номере на двоих, постаравшись, чтобы он располагался поближе к моему. Удача снова улыбнулась мне, и немного переплатив, я оформил всё за считанные минуты.

Возвратившись в номер, я принялся рыться в чемодане, извлек свои документы и, бросив их на журнальный столик, присел на кровать.

«Что же это я такое делаю? – мелькнуло у меня в голове. – И зачем вся эта ложь, волнение, зачем? Чего я прицепился к женщине и ее дочке?.. А если вместо них меня будет ждать на вокзале наряд милиции? Это же сколько возиться придется, объяснять...».

Я спрятал лицо в руках и замер в раздумье.

– Постой! – снова принялся я рассуждать. – Основной целью моего сегодняшнего похода на вокзал было выяснить степень сохранности моих способностей. Всё и выяснилось: остались треклятые и никуда не делись! Даже острее всё стало: ведь когда остановила меня девчонка за руку, я весь так и сотрясся, почувствовав и страх, и растерянность, и ее боязнь отца, и одновременно – какую-то мучительную любовь к нему, перемешанную с детскими претензиями, недомолвками, приливами нежности и ненависти – весь этот клубок эмоций, мыслей и переживаний в одно мгновение пронзил меня всего: я ощутил это чуть ли не позвончиком...

А потом? Что же было после того, как она остановила меня и попросила о помощи? Да, именно попросила о помощи и... – я постарался с максимальной ясностью вспомнить, что чувствовал после этого момента. И после некоторых раздумий осознал, что ничего, кроме желания помочь, и не помню совсем. Все столь привычные и болезненно острые переживания, связанные с моими мучительными способностями, как-то забылись, затерялись во время беседы! Меня это открытие очень обрадовало.

– Да, но зачем я лгал-то им? Зачем так усиленно зазывал их в номер, назвался психологом и предлагал не ехать? Чем, чем же я смогу помочь им? – снова кто-то будто со стороны напомнил мне.

Я искал в себе ответа на этот вопрос и вновь пришел к небольшому «откровению»: я с совершенной очевидностью осознал, что мною в данном случае руководил банальный эгоизм. Да и на протяжении всей беседы мною управляло именно это: кажется, я еще тогда, еще до возвращения ее матери понял самое главное, что и толкало меня действовать так, а не иначе, что являлось главной причиной внезапного вдохновения, охватившего меня на вокзале. Итак, вот оно, это открытие: если я смогу

помочь им, – но только по-настоящему, не в полсилы, а так, чтобы полностью исправить ситуацию, – то я тем самым, безусловно, помогу и себе. Вот оно!.. Именно поэтому так важно было удержать их от намерения уехать любой ценой, даже ложью.

Я был в восторге, в самом искреннем, почти детском восторге от всех этих «откровений», размышлений и выводов.

– Вот оно! Ведь еще несколько часов назад я подумывал даже и о самоубийстве. Из дома бежал, скрылся ото всех, хотел уехать за тридевять земель, а всё, оказывается, можно исправить. И нужно исправить! – я вскочил и, ходя по комнате, последние фразы, насколько помнится, произнес вслух и в необыкновенном волнении.

Тут я ощутил, что голоден и, посмотрев на часы, решил, что вполне успею перекусить, а затем уже прямо из закуской побегу на вокзал на встречу с мамашей и дочкой. «Спасительницы мои!» – как-то уже даже с нежностью подумал я о них и, поймав себя на этом, рассмеялся. Быстро схватив со столика пакет с документами (паспорт, диплом о высшем образовании, к слову сказать – юридическом, еще какие-то бумаги, – сейчас и не помню), я закрыл дверь номера и спустился в закусочную.

На часах было уже без двадцати два, у меня оставалось каких-то 10-15 минут на еду. Я заказал горячее, а также кофе с промасленными вокзальными пирожками и стал внутренне готовиться к беседе с моими «спасительницами». Сидя за небольшим столиком, покрытым грязноватой, выдавшей вида скатеркой, и уже доедая свой непритязательный обед, я с некоторым испугом почувал, что ноги у меня как-то странно потяжелели, как будто на носки моих ботинок поместили нечто мягкое и объемное. С недоумением я медленно приподнял скатерть и увидел, что под столом, за который я только что присел перекусить, пребывает собака, самым бесцеремонным образом расположившаяся ко мне спиной и, видимо, во сне навалившаяся мне на ботинки.

Еще не рассмотрев толком своего невольного соседа, я схватил с тарелки оставшийся пирожок с благородным намерением поделиться с ним. Буфетчица, успевшая заметить мои телодвижения, громко и не слишком любезно спросила:

– Кто там у вас? Псина эта, что ли? Да не давайте ему – он у нас закормленный, не будет он пирожок ваш. – Потом уже как-то добрее добавила. – Его тут многие подкармливают: вокзальная собака-то...

Я кивнул ей и так с пирожком в руке и замер, пристально рассматривая существо, пристроившееся в моих ногах. Собака была самой обыкновенной дворнягой; со спины шерсть казалась серой, почти черной, хотя, как я потом уже разглядел, цвет морды был коричневатый. Чуть

присвистнув и вынув ботинки из-под пса, я разбудил его. Тут же его лохматый, свалывшийся хвост дружелюбно застучал об пол, и он повернул ко мне морду...

Ну, конечно же! Я счастливо улыбнулся, словно встретил старого друга. Присев на корточки и почесав ему между ушами, я извлек собаку на свет Божий. Он так отчаянно вилял хвостом, что я не выдержал и, улучив момент, когда буфетчица отвлеклась, всучил ему оставшийся пирожок. Пес тотчас проглотил угощение и уселся рядом с моим стулом. Я еще раз внимательно посмотрел на него, чтобы разрешить сомнения окончательно – ну да, так и есть: это та самая собака, которая (впрочем, как и весь вокзал) участвовала в моем вчерашнем «расширении»! Решив так, я уже не менял это свое убеждение никогда. Мало того, я немедленно уверил себя, что и сам пес знает и понимает это, а потому между нами есть какая-то «связь».

Эта ли самая «связь» или жалкий комок теста с картошкой, названный в местном буфете «пирожком» и подаренный мною собаке, повлияли на дальнейшее ее поведение, – точно сказать не могу. Тем не менее, как только я встал и вышел из буфета с намерением как можно быстрее дойти до места назначенного свидания, пес также сорвался с места и последовал за мной.

Сначала я не придавал этому особого значения, поскольку очень торопился и полагал, что четвероногий преследователь довольно быстро отстанет. «За его короткий собачий век такие вокзальные “благодетели” ему, вероятно, попадались частенько», – промелькнуло у меня в голове. Однако буквально через минуту, захваченный мыслью о предстоящей встрече, я совершенно забыл про нового знакомца. Войдя в основное здание вокзала, я быстро обвел глазами полупустой зал ожидания: моих «спасительниц» нигде не было. Посмотрев на часы, я увидел, что припозднился всего на 5-6 минут и потому решил, что вряд ли они ушли, не дождавшись меня. Да и куда они могли бы пойти? Ведь, судя по всему, они собирались именно здесь скоротать всё время, которое осталось до вечернего поезда. В раздумье я медленно подошел к своему прежнему месту и сел, намереваясь подождать.

«По всей видимости, они испугались и не придут», – уныло подумалось мне. В ожидании я провел не менее получаса и постепенно стал клевать носом. Напряженная ночь накануне, которую я провел почти без сна, а также не прекращающееся эмоциональное напряжение последних нескольких часов оказали свое несомненное влияние, и я уснул минут на 20.

Проснулся я оттого, что кто-то легко коснулся моей руки. Открыв

глаза, я некоторое время не мог понять, где нахожусь, затем услышал знакомый голосок Светы: «Это ваша собачка? Какой хороший! Серый!». Я увидел стоявших совсем рядом девушку и ее мамашу. Прямо в ногах у меня спал знакомый пес.

Немного сконфуженный, я вскочил на ноги, чем потревожил четвероногого. Собака поднялась, потом сладко зевнула и умильно уставилась на нас, стучая хвостом об пол.

– Да... Я ждал вас и – заснул...

– Мы просим извинения: задержались у камер хранения – сдавали свои чемоданы, – очень мягко, как-то по-домашнему сказала мамаша. И добавила, что билеты куплены и теперь они в полном моем распоряжении – до 21 часа 35 минут – «как указано в наших проездных документах». Она произнесла это, очень мило улыбаясь, что вернуло мне прежнее вдохновение.

– Какой, какой хороший! Серый, – сказала девочка, сев на лавку и почесывая псу за ухом. – Так это ваш?

– Ну, так-то он вокзальный, но мы с ним очень хорошо знакомы! – объявил я почти серьезно, что развеселило девочку, но немного обеспокоило мать.

– Света, если он бродячий, то не трогай его! И обязательно руки вымой потом! – строго проговорила она, но глаза ее смеялись.

– Ну, и как же его зовут? – спросила дочка.

– Да вот как ты его назвала – «Серый» – так, стало быть, его теперь и зовут! – заявил я и также начал чесать псу за ухом. – Кстати, раз уж мы знаем кличку пса, неплохо было бы и нам представиться друг другу. Александр Толмачев – так сказать, «психолог местного разлива», хотя по образованию я юрист!

– Долинина Вера, – произнесла, было, мать, но, немного поколебавшись, добавила: – Вера Сергеевна. А это моя дочь – Света, но вы, вроде бы, в курсе...

– Что ж, – энергически начал я, – вы просили документы, вот все они здесь. Можете посмотреть, а затем – милости прошу в ваш номер. Поскольку билеты куплены, времени нам терять нельзя!

Мать замаялась, потом что-то пробормотала, по всей видимости, борясь сама с собой, но не выдержала, быстро развернула паспорт, взглянула туда и, более ничего не посмотрев, с улыбкой вернула мне.

– Вы можете сейчас устроиться в вашем номере и немного передохнуть – я думаю, одного часа вполне достаточно. А затем минут 15 четвертого я приду к вам, и мы начнем наш «эксперимент». Идет? – спросил я самым веселым и непринужденным тоном. У меня это

получилось весьма естественно, ибо я действительно переживал такие хорошие и такие бодрые, свежие, радостные чувства, каких, наверно, не испытывал с самого детства.

– Идет! – воскликнула за маму Света и видно было, что и ей передалось мое настроение. Вера Сергеевна с некоторым осуждением посмотрела на дочь и согласно кивнула. Мы все вместе двинулись в сторону гостиницы. Серый прилепился к нам намертво и на этот раз не плелся где-то позади, а важно возглавлял шествие, как будто зная цель нашего похода.

– А он правда «Серый»? А эксперимент ваш страшный? А кто-то еще будет с нами его проходить или только мы втроем? – завалила Света меня вопросами. Я улыбаясь отвечал, что эксперимент «не страшный» и рассчитан только на нас троих; Серый в самом деле – «Серый» и т.д.

Через пять минут мы были в гостинице и, быстро завершив различные формальности с документами, разошлись по номерам. Однако перед этим я снова вышел на улицу и свистнул пса. Тот немедленно вылетел откуда-то из-за угла и, виляя всем задом, приблизился.

– Послушай, Серый, – серьезно обратился я к собаке, положив ей руку на шею. – Если сейчас у меня получится, то я сотворю чудо и приведу тебя в человеческий вид: а то смотри – шерсть свалялась, лапы грязные, – даже стыдно перед дамами. Жди здесь!

Пес сел на асфальт и потянул воздух носом: наверно, понял.

Денег выложить пришлось порядочно, – однако наша привокзальная гостиница всегда была полупустой и потому, вероятно, здесь действовали по принципу: «за ваши деньги – любой каприз». В общем, мне снарядили одного работника, который отвел нас с псом в служебное помещение, где я принялся отдраивать собаку. Серый принял всё это с самым спокойным видом, будто его мыли и вытирали белым вафельным полотенцем ежедневно. Затем, как мы и договорились с администрацией гостиницы, я провел своего четвероногого друга к себе в номер.

По всей видимости, своему лохматому гостю я радовался гораздо больше, чем он – новому пристанищу. Пока он обнюхивал все углы номера, я нарезал ему колбасы и хлеба, а также выделил пластиковую миску с водой. Он мгновенно справился с едой, пить отказался, а затем величаво разлегся на пороге – опять же с видом совершенно привычным, словно именно так обедал и спал всю свою собачью жизнь.

Через некоторое время я подзвал пса к себе, внимательно осмотрел его со всех сторон, а затем даже попробовал немного причесать свалявшуюся шерсть. Серому это явно не понравилось, он сжался и отодвинулся от меня с видом некоторого недоумения. Я махнул на него

рукой: пусть остается лохматым! Пес, увидев, что я бросил старую расческу на кровать, заметно повеселел и, подойдя ближе, снова сел совсем рядом.

– Что же ты такое? – спросил я, долго смотря ему в глаза. – Знак мне, что ль, какой? Ведь это ты был, ты? Ну, когда я... м-м, «расширился»?

Серый помолчал и положил мне морду на колени. Я погладил его между ушами и прилег: надо бы подумать о том, что же я буду говорить Вере Сергеевне и ее дочери. Беседа должна быть заранее продумана, иначе не будет столь результативна, как мне хочется. Но в голову лезли всё какие-то посторонние мысли. Я закрыл глаза и уже в полудреме услышал, как собака вернулась на свое прежнее место у порога, немного покружилась и со вздохом улеглась...

Перед тем, как окончательно погрузиться в сон, я дал себе установку обязательно проснуться минут через 30-40. Настрой на пробуждение обычно срабатывал. На этот раз он немного припозднился, но все-таки я проснулся почти вовремя. Вскочив с кровати, я посмотрел на часы: спал около часа. Серый недвижимо лежал на пороге. Я рванул в ванну, умылся и принялся чистить зубы. За этим занятием в уголке зеркала я заметил лохматую морду. Так и есть: Серый засунул свой любопытный нос в ванную комнату и наблюдал за мной.

Вдруг в голове моей что-то смешалось, какие-то образы замелькали перед глазами, и я вспомнил об увиденном только что сновидении. Точный сюжет сна никак не припоминался, но вот этот момент: собака в зеркале, вся обстановка номера, затем вокзал откуда-то сверху – всё это в сновидении было. Уже собираясь выйти, я вспомнил и еще один фрагмент сна: я провожаю Веру Сергеевну и Свету на перроне; поезд трогается и... И что-то случается, что-то происходит! Как только поезд там, во сне, начал движение, случилось нечто потрясающе важное, но что именно – я совершенно не мог вспомнить. С этими мыслями о недавнем сновидении я и постучался в номер к своим «пациенткам». Пса я не рискнул оставлять одного, поскольку не знал, чего от него можно ожидать. Серый послушно последовал за мной, но, увидев лестницу, ведущую к выходу из здания, остановился в нерешительности и заскулил.

– Что, Серый, уже на волю запросился? Ну, потерпи, брат, потерпи часок-другой, мы и прогуляемся! – сказал я ему ласково. Он будто понял и смиренно позволил себя увести от лестницы к номеру моих «спасительниц».

На стук почти сразу отворили: меня ждали уже с нетерпением.

– О, вы и пса с собой захватили! – восторженно сказала Света. Судя по их еще не высохшим волосам, обе они успели принять душ. Без верхней одежды и мать, и дочка выглядели совсем по-домашнему – как родные.

Мы с Верой Сергеевной тотчас расположились в креслах за журнальным столиком, Света уселась на кровати и, подозвав Серого, заставила его улечься у себя в ногах.

У беглянок оказался с собой небольшой электрический чайничек (в самих номерах такого богатства не было), поэтому на протяжении всей беседы мы чаевничали.

– У нас с вами всего только несколько часов, поэтому давайте постараемся говорить кратко и по существу. Думаю, что вы этот мой настрой со своей стороны поддерживаете? – начал я с вопроса.

Вера Сергеевна понимающе улыбнулась и кивнула; Света шепотом о чем-то уже договаривалась с Серым, иногда тихонько смеясь над ним во время беседы.

– Как вы понимаете, в первую очередь мне нужно в подробностях услышать вашу историю, точнее – описание вашей семейной жизни, основных ее событий – чтобы я понял те причины, которые и привели в конечном итоге к сегодняшнему побегу. И, если не возражаете... – я достал диктофон, с которым редко расставался, и, включив, положил его на столик. Долинина еще раз кивнула.

– Да-да. Это все-таки эксперимент, я понимаю: всё должно быть записано, зафиксировано, – она смешалась и замолчала. Но тут же продолжила:

– Я, вообще-то, не рассказчик, не очень-то умею говорить... Может, вы поможете мне вопросам? – она взглянула на меня с какой-то мольбой, все время косясь на диктофон – так, будто кто-то еще объявился у нас в номере, – посторонний и строгий. Впрочем, не прошло и десяти минут, как мы все забыли о записывающем устройстве, и далее оно нисколько не мешало.

– Конечно-конечно! Первое, от чего можно оттолкнуться: ваше знакомство с мужем... – направил я ход разговора.

– Да! – обрадовалась Долинина. – Именно с него надо начать... – и вдруг снова запнулась. – Нет-нет. Еще раньше, раньше, ведь всё началось тогда – наверное, не с мужа. Вернее, не с этого моего нынешнего мужа. Ой, я, кажется, совсем спуталась!.. И точно испорчу вам весь эксперимент! – Вера Сергеевна совсем, было, огорчилась, но я быстро успокоил ее; Света по маминой просьбе разлила всем чай, достали сладкое (кое-что перепало и Серому), и понемногу моя новая знакомая разговорилась, оказавшись при этом совсем не такой плохой рассказчицей, как она уверяла вначале.

– С первым мужем – Сергеем – я познакомилась еще в институте. Хороший был мальчик, всегда был хороший. Он у нас в группе один обучался – из всего мужского пола, так все девчонки души в нем не чаяли.

В первое время я как-то и не замечала его вовсе: другие какие-то интересы были да и ухажеров хватало... А затем – вдруг заинтересовалась сильно, как-то увидела его по-новому.

Знаете, ведь существовала такая традиция, – ну, КВНЫ эти студенческие, вы, наверняка, что-то также захватили? Да? Мне не очень нравилась вся связанная с этим суета, и я всегда умудрялась не участвовать в подобных мероприятиях. Но однажды курсе на третьем девчонки упросили меня, буквально силой увлекли на репетицию – была какая-то сценка, номер, сейчас уже не помню про что... А он – как единственный парень – был просто на расхват. Там мы и разговорились, сблизились, затем стали встречаться и вот – сообразили, – она указала глазами на Свету.

– Так Света... от него? – спросил я несколько удивленно.

– Да-да. Поэтому-то мне и важно сначала о Сереже рассказать. А потом к моему... рыбаку перейти, – в лице Веры Сергеевны вдруг опять на несколько мгновений появились следы той усталости, которые были отмечены мною еще при первом с ней знакомстве. Как только она упомянула о «рыбаке», я ощутил знакомый холодок, пробежавший по позвоночнику. Меня это слегка встревожило, но я постарался не подать виду.

– О беременности своей я сама узнала чуть ли не на третий месяц, решили зарегистрироваться почти сразу. Сергей к сообщению о ребенке отнесся удивительно спокойно, меня это его спокойствие как-то даже поразило тогда... – Долинина замолчала и изменилась в лице, точно вспоминая что-то. Затем продолжила:

– Я и до сих пор не могу сказать, любил ли он меня. Я, кажется, любила... Как только Света родилась (мы тогда заканчивали 4-й курс), я ушла в административный. Снимали КГТэшку, моя мама нам немного помогала... Сергей перевелся на заочный, устроился в одну фирму сисадмином – недалеко от этого красного магазина в центре города, вы, наверное, знаете. И вот... Я вот даже не помню, как это точно началось... Он возвращаться стал поздно, учиться совсем забросил. И раньше-то поздно возвращался... Как только Светочка родилась, он еще ничего: мы вначале, ну, как только жить стали отдельно, вдвоем, так можно сказать, счастливы были... Да, наверно, это Свете полгода исполнилось. Нет, меньше! Точно: 5 месяцев ей было. Я ждала его до часу ночи, он пришел трезвый, совсем трезвый, – вот это меня тогда и потрясло больше всего. Так-то он иногда выпивал, – ну, с друзьями, – было такое. Но, в общем-то, он у меня этим делом не злоупотреблял. Я встала приготовить ему чай, посидеть чтоб на кухне с ним немного. Светик спала, – она у нас

молодец насчет этого: тихая в детстве была, всё лежит в кроватке и глазенками смотрит, – рассказчица с улыбкой посмотрела на дочку; та была серьезна и глядела на Серого. Видно было, что девочка внимательно слушает: быть может, она и знала эту историю, но, вероятно, мать никогда так детально не описывала ей жизнь с прежним мужем. Я молчал и всё не мог забыть ощущения холода в позвоночнике: мне казалось, что я всё чего-то жду, и ожидание мое непосредственно связано с рассказом собеседницы. Долинина в который раз подняла не тронутую чашку чая и снова опустила ее, не выпив ни глотка.

– Я попыталась поговорить с ним, он был молчалив, отвечал неохотно. Я попробовала выяснить, не случилось ли чего на работе, Сергей отвечал резко. Слово за слово – мы рассорились, рассорились не на шутку. Был уже третий час ночи. Говорили мы приглушенно, шипели друг на друга, боясь, что проснется ребенок или услышат соседи. Никто не хотел уступать: тут он обвинил меня в том, что испортил себе жизнь из-за меня, так как моя беременность помешала ему нормально доучиться, а сейчас он совсем забросил учебу, и по моей милости является человеком без образования. А надо сказать, что Сережа очень трепетно относился к учебе и всегда был в числе первых. Я возражала ему и говорила, что никто не мешает ему восстановиться и продолжить обучение.

– А деньги? – он кипел от злости. – Кто будет кормить тебя и твоего ребенка?

Я отвечала, что совсем скоро сама буду работать; кроме того, многие люди, работая, продолжают учиться.

– Это не мой случай! Я не имею такой возможности: ты что не видишь, что работа отнимает у меня все свободное время!

Я снова возражала, так как знала и видела, что свободного времени у него всегда было много, в том числе и на работе. Это я знала наверняка, так как с ним вместе в этой фирмочке работала моя подруга. Затем Сергей зацепился за этот дурацкий квартирный вопрос: моя мать полгода назад помогла Ольге – старшей моей сестре с квартирой. Они с мужем взяли ее в ипотеку, мама помогла им с первым взносом. Сергея почему-то ужасно раздражал этот факт, поскольку он считал, что нам мать должна была помочь в первую очередь: ведь мы еще учились, а сестра с мужем уже давно работали.

В общем, слово за слово, там еще какие-то мелочи были... И он меня тогда в первый раз ударил. Знаете, это было ужасно неожиданно как-то. Ведь он был тихоня, да и любила я его. Я совсем-совсем и не думала, что он способен... так ударить. И удар был, знаете, какой-то странный: я не подозревала, что можно так – женщину. Ведь это называется в «под дых»,

кажется? Да? Вот в живот, как-то зло и очень сильно. Меня скрутило, я даже упала, не поняв, что произошло. А он вышел из кухни в зал.

Когда он вернулся, я бледная, как полотно, сидела на табуретке. Слезы уже высохли, во рту была горечь, сушь какая-то. Он наклонился ко мне (трезвый, вы понимаете?) и тихо, но отчетливо сказал:

– Еще раз услышу, что возражаешь мне – получишь больше!

И вышел в зал. Я сидела до утра, пытаюсь понять, как же это так всё вышло? Мне было страшно и не понятно, совсем не понятно это. Ведь он был другой, ведь мы любили друг друга! И тут – ведь, верите мне, даже и ссоры какой-то особой не было, и гнева-то особого! Не в страшных по силе эмоциях или по пьяни – а вот так холодно и жестко, через несколько месяцев совместной жизни... Что, что с вами?

Вера Сергеевна с беспокойством поднялась. Я сидел перед ней бледный; руки мои были припечатаны к боковинам кресла – так, чтобы не позволить им подняться. Нечто действительно странное происходило со мной в течение всего ее рассказа. Чем далее она описывала историю своего замужества, тем все более я испытывал невероятное, дикое, ничем не объяснимое желание ударить сидящую напротив меня женщину. И ударить вполне определенно – я знал, как именно это сделать, чтобы ошеломить жертву, сломать ее и духовно, и физически в мгновение ока. И при этом – не повредить лицо! О-о! Это непереносимое условие...

Когда же она произнесла это словечко «под дых», напряжение мое достигло апогея, по всему телу пошла какая-то судорога – и вот тут-то Долинина, увлеченная своим рассказом, наконец-то заметила происходящее со мной и вскочила на ноги. Я тотчас пришел в себя и успокоил собеседницу.

– Ничего-ничего... Прошу вас продолжать. Впрочем, давайте чаю, три минуты – просто чаю, – сказал я, задыхаясь. Долинина принялась молча разливать чай, тревожно поглядывая на меня.

Неожиданно я услышал рычание. Обернувшись назад, я увидел, что Серый, отойдя от Светы, весь вытянулся и, изобразив стойку собаки, готовой напасть, ощерился в нашу сторону.

– Ты чего, Серый? – я присвистнул и поманил его. Пес вздрогнул, всё еще осторожно поглядывая на меня, а затем, завывая по обыкновению хвостом, подошел ко мне и милостиво принял ласку между ушей – как ни в чем не бывало.

Рычание пса насторожило Веру Сергеевну, которая еще была под впечатлением моего странного поведения.

– Знаете, Вера Сергеевна, – нарушил я затянувшееся молчание, все еще глядя собаку, – ваш муж, бывший муж Сергей был ведь еще и

ревнивым человеком? Стра-ашно ревнивым, не так ли?

Долинина замерла с чайником в руке; краска бросилась ей в лицо, и она пришла в полное замешательство.

– Вы... Александр... Я... – она снова замолчала, поставила чайник и встала с кресла.

– Нет, нет, прошу вас! – с беспокойством воскликнул я, уже совершенно оправившись от недавнего приступа сильнейшего (необычного даже для меня) проявления моей обостренной чувствительности. – Вера Сергеевна, поверьте, всё абсолютно нормально, более того: мое поведение, которое, скорее всего, представляется вам сейчас непонятным и даже вздорным, обязательно получит свое объяснение в дальнейшем. Обещаю вам!

Она снова села.

– Да, он страдал... эта ревность. Но как вы смогли это узнать? Ведь я еще не упоминала об этом...

– Итак, он вас ударил, Вера Сергеевна, – уверенно и настойчиво проговорил я. – Прошу вас: продолжайте. Только умоляю вас: говорите все искренне, без утайки – именно в этом суть всего нашего эксперимента.

– Да-да! – как-то машинально пробормотала Долинина, но затем собралась духом и продолжила. С каждым предложением она всё больше оживлялась, и вскоре снова вдохновилась на детальное описание своей семейной жизни.

– Я не знаю, как это вы... угадали. Действительно: он был жуткий ревнивец. Это проявилось почти сразу, но вначале нашей совместной жизни я считала это даже его достоинством: ну, знаете, это банальное, бабское: ревнует – значит, любит...

Я, в принципе, в молодости была недурна собой, в студенческие годы дружила сразу с несколькими парнями. И, естественно, продолжала дружить и после того, как стала встречаться с Сергеем. Когда же мы зарегистрировались (свадьбы, можно считать, и не было: так – гулянка для своих), он буквально на следующий день мне сказал, – знаете, это было подано как шутка, но в глазах его, когда он произносил так запомнившуюся мне фразу, светилось такое... такое чувство, очень серьезное... Мне страшно стало. Так вот он мне сказал: «Запомни, Вера, ты теперь моя и только моя! И я – твой. И никого другого нам не надо, слышишь!». Его, например, жутко раздражали звонки на мой сотовый любых незнакомых ему мужчин, – особенно если звонили в его присутствии, и я – для того, чтобы поговорить, – уходила в другую комнату. После этого он обычно принимал на себя «обет молчания» и мог не разговаривать со мной целый день...

Но так было до того, как он меня в первый раз ударил. После этого началось что-то ужасное. Он заставил меня удалить все номера из мобильного, которые относились к другим мужчинам – сначала всех моих школьных и студенческих друзей, а затем добрался даже до двоюродных братьев. Те несколько месяцев, которые я жила с ним после случая на кухне, я до сих пор вспоминаю с содроганием... Много было и других гадких сцен, о которых, Саша, я бы не хотела рассказывать: это утомительно, да и, наверное, мало что добавит к тому, что я уже сказано... Ведь для вашего эксперимента важны в первую очередь мои ощущения, ведь так? Да я и не могу вам сообщить что-то другое о своей семейной жизни: здесь, по-моему, нельзя быть «объективным»...

В конечном итоге я стала его глубоко ненавидеть, это было почти физиологическое отвращение, страшно усиливающееся во время, ну... – она осеклась и посмотрела в сторону дочери. – Ну, вы понимаете... Когда мы с ним вынуждены были оставаться один на один – по ночам... Все-таки ребенок первое время как-то компенсировал все эти взрывы ненависти, однако потом сцены начали происходить и в присутствии Светы. Особенно запомнился один такой эпизод. Я именно его еще хочу рассказать, чтобы больше уже не возвращаться к описанию моей жизни с Сергеем.

Он вернулся в тот день вечером, часу в седьмом. Как обычно, мы поужинали. Настроение у него было вроде бы хорошее. Я уже тогда начала его страшно бояться и поминутно размышляла о том, как уйти, сбежать от него: я отлично понимала, что просто так он меня не отпустит. Про себя я называла его «чудовищем» – не иначе...

Моя мать знала об этом немного, кое о чем сама догадывалась, но я ее старалась лишней раз не беспокоить: достаточно было проблем, которые она выслушивала почти ежедневно от моей старшей сестры.

Как начался очередной скандал, я уже не помню: скорее всего, он нашел на журнальном столике мою записную книжку с телефонами – единственную из оставшихся, поскольку остальные он при мне разорвал. Как назло, я не успела спрятать ее до его возвращения. Несомненно, это была какая-то болезнь, бред ревности, который, однако, начинался у него всегда в форме обвинений в том, что я испортила ему жизнь, не дала ему доучиться и т.п.

Когда он довел себя до иступления (кажется, ему даже нравилось это состояние), он начал меня бить так, как никогда еще не бил. Снова началось вот это самое ужасное: ведь он служил в армии, какие-то такие войска... Понимаете, я не успевала уловить тот момент, когда он собирается ударить, и поэтому даже не могла защитить себя. И вот тогда

я в каком-то забытии от собственных криков, боли, зверского его выражения лица, увидела нашу девочку: ей было уже месяцев семь, она еще ползала, не ходила. Она сидела на попе в коридоре и смотрела на то, как муж на кухне бьет меня. Меня всех больше поразили ее глаза: они были пусты и равнодушны к происходящему. Понимаете? Она уже привыкла к этому всему: ведь от ребенка нельзя скрыть постоянные скандалы – тем более в однокомнатной квартире. Она так привыкла к этому, что для нее сцена избияния матери стала нормой!

И вот тогда я поняла, что в этой истории должна быть поставлена точка.

На следующее утро, когда он ушел на работу, я схватила ребенка, собрала все свои вещи, какие смогла увезти, и уехала к родственникам, живущим в Саратове... Матери ничего не сообщила. Он приходил к родителям неоднократно, пытаясь выяснить, где я, – до тех пор, пока отец не спустил его с лестницы, – вызывали даже милицию. Кстати, бывший муж тогда ужасно струсил, – это мне потом рассказывали... Ну, далее – тоже банально: развод, алименты через суд, это, наверно, не так интересно да и не стоит об этом, – Вера Сергеевна прервалась, как бы давая слушателям перевести дух.

Во время ее рассказа я несколько раз снова принимался бороться с какими-то приступами ненависти-любви к моей собеседнице, помогая себе только тем, что четко давал понять своему сознанию, что переживаемое мною не является собственно моими ощущениями и мыслями. Каждый новый приступ был все слабее и слабее, словно я постепенно обучался их контролировать. Во время рассказа об эпизоде с маленькой Светой, я невольно повернулся в сторону дочери Долининой и увидел, что девочка совсем расстроилась и едва сдерживает слезы.

– Давайте действительно остановимся, отвлечемся, что ли, – предложил я. – Тем более я бы хотел уже сейчас немного рассказать о себе – для того, чтобы вы поняли мои дальнейшие комментарии к вашей семейной истории.

Я постарался достаточно детально рассказать ей о своих «способностях» и «приступах»; поведал ей кое-что из своей биографии – в общем, всё то, что собственно побудило меня уйти из семьи и очутиться на этом вокзале – описал ей даже свое «расширение» и встречу с Серым. Не скрыл и тех мотивов, которые руководили мною, когда я заговорил со Светой. Меня внимательно выслушали – кажется, всё с возрастающим удивлением и беспокойством.

– Одно из проявлений этих самых «способностей» вы могли наблюдать сами, – я заключил почти получасовой спич описанием своего

приступа ярости и любви-ненависти, пережитых мною во время ее рассказа. Не забыл и упомянуть о том, что едва-едва сдержался, чтобы не ударить мою собеседницу. Та вздрогнула, услышав об этом.

– Я, несомненно, чувствовал то самое, что переживал ваш первый муж – даже, наверное, ощущал какой-то сплав его эмоций и вашего восприятия этих эмоций... Именно поэтому, как мне представляется, я смогу объяснить и себе и вам некоторые причины вашей семейной катастрофы, – тут я замолчал, готовясь изложить самую сложную часть моего выступления – ту, о которой сам имел весьма смутное представление.

Во время всей моей речи Долинина молчала, лишь изредка с некоторым тревожным любопытством поглядывая на меня.

– По-моему, – произнесла она, не скрывая некоторого смущения и какой-то едва заметной снисходительности в тоне, – вам самому требуется серьезная психологическая помощь...

– Я и не предполагал, что вы... Я сам бы на вашем месте оценил свой рассказ именно так – с изрядной долей недоверия. Однако же вы совершенно верно отметили главное: мне так же требуется помощь, как и вам. Я уверен, абсолютно уверен в том, что если смогу сделать всё, что в моих силах, чтобы решить вашу проблему, то тем самым помогу и себе!..

– Но как, как же... – начала, было, она, однако я перебил ее.

– Позвольте, Вера Сергеевна, я поясню подробнее. Я уже упоминал о том, что во время вашего рассказа я... я, так скажем, сумел встать на точку зрения вашего первого мужа, полностью с ней отождествиться, я как бы и был им...

– Вы знаете, – перебила она меня и как-то криво усмехнулась, – Сергей много лет назад умер – насколько я знаю, от осложнений после сильной простуды. Так что ваше это самое «отождествление»...

– Это в данном случае не важно, – возразил я, – главное в том, что мы беседуем с вами о «как если бы...», – я описываю ровно то, что испытывал он, как если бы я и был Сергеем... Понимаете? Но я не прошу вас верить в это! Ведь не в этом смысл нашего общения или, как я назвал это, – «эксперимента»: я прошу только очень внимательно подумать над тем, что я скажу в отношении вас и вашего бывшего мужа.

То, что произошло у вас с Сергеем, обусловлено не только его особенностями характера или его бредом ревности. Дело в том, что вы подходите друг к другу, как ключ к замку. Ваша встреча с ним и замужество – не случайность, а даже необходимость и является своеобразным лекарством для вас обоих. Кроме того, благодаря этому появился и ваш чудесный ребенок, – я кивнул в сторону Светы. – Я, наверное, плохо излагаю свои мысли и чувства, но поверьте: делаю это

от всего сердца и искренне. В вас самой есть то, что вы осудили в Сергее, – нечто, заставлявшее его нападать на вас и так по-скотски относиться к вам. Какое-то мучительное свойство вашей души, вашего характера, всего вашего внутреннего существа. Вот это-то и надо изменить, в этом всё мое к вам сообщение: исправите себя – изменится и вся ситуация вокруг вас. Вы понимаете меня?

– Да, я... – пролепетала Долинина: видно было, что она в совершенной растерянности. – Я, кажется, и поняла вас, и не поняла одновременно. Я эту вашу идею о каких-то сверхспособностях, которыми вы будто... которые будто есть у вас, – так в это я совсем не верю... и не принимаю. Но то, что мы с моим первым мужем были очень похожи по характеру, склонностям и многому другому, – вот это совершенно так, это – правда...

– Разрешите я продолжу, – заговорил я, снова чувствуя некое вдохновение. – Его стремление избить, полностью подчинить вас, его жуткая, болезненная ревность, весь этот чудовищный ком эмоций, замешанный на любви-ненависти, который я сам, сам, верите вы или нет, только что пережил – это не просто черта его характера, это то его свойство, которое именно на вас и должно было реализоваться. При встрече с другой женщиной, он, быть может, и не смог бы проявить себя так ярко, так отвратительно явно. Еще точнее: он и не мог встретить эту другую виртуальную женщину, но был «рассчитан» именно на вас – чтобы вылечиться самому и исцелить вас, – я ощущал все большую уверенность в своих силах, и голос мой приобрел несвойственную мне твердость. – Более того, вы умудрились передать это и своей дочери, которая также наследовала это внутреннее содержание, провоцирующее соответствующую семейную историю и несчастную судьбу.

Вера Сергеевна вдруг всплеснула руками и встала.

– Ну, знаете! – лицо ее исказил самый настоящий гнев. – Вы изображаете из себя не понятно кого – пророка ли, экстрасенса ли, – Бог знает кого! Вы совсем, слышите, совсем не психолог! Что за абстракции, какие такие черты характера, я ничего не понимаю!

– Мама! – вдруг раздался властный голос молчавшей до этого Светы. – Я очень тебя прошу дослушать то, что скажет... можно я буду вас называть «дядь Сашей»? – и уже более смягченным тоном добавила: – Мама, правда, будет глупо, если мы, потратив столько времени и эмоций, неожиданно прервем всю беседу! Ведь не будет от этого хуже, мама! Хуже уж точно не будет. А дядя Саша – я это чувствую – действительно старается помочь...

Я улыбнулся ей в ответ; особенно забавным мне показалось это

ее «дядь Саша».

– Я думаю, что наше общение действительно будет полезным и вам, и мне, – продолжил я, радуясь поддержке дочери. – Поверьте: вы – первые, кому я так открыто и так подробно рассказал о своих «способностях», до конца мне не понятных самому. Я очень, очень извиняюсь, что солгал вам – и про кафедру психологии, и про остальное. Но я несколько не врал относительно «эксперимента» – это общение и есть наш совместный жизненный эксперимент, от которого зависит дальнейшая судьба всех собравшихся здесь. Ведь я тоже – беглец из собственного дома, вы не забыли?

Вера Сергеевна постепенно успокоилась и снова села на свое кресло.

– Я прошу извинить меня: все эти воспоминания, наш побег, ваши странные слова... – голос ее снова дрогнул, и она закрыла лицо руками. Света бросилась к ней и обняла ее. Я подождал пока все страсти улягутся, поскольку и сам почувствовал, как горький ком слез подступает к горлу.

– Я продолжу, с вашего разрешения, – снова обратился я к моим слушательницам. – Уверен в том, что бегство от ситуации, которое мы с вами совершили – это не выход. Нельзя убежать от самих себя, тем более, что вы, Вера Сергеевна, сегодня делаете это, кажется, во второй раз. Я заранее прошу прощения у вас за то, что скажу далее: ваша главная беда – внутренняя гордость и жутко завышенные ожидания в отношении ваших близких. Я это знаю наверняка, поскольку сам страдаю именно этим. Мало того, Вера Сергеевна, я еще и самый банальный эгоист: ведь, повторяю, моя так называемая «помощь» вам замешана именно на чувстве самосохранения: вы – мне, я – вам. Ваши ожидания от мужа, точнее – от мужей: какими именно они должны быть, как должны к вам относиться, какие иметь привычки и степень духовного развития – эти ожидания таковы, что они просто обязаны им не соответствовать, чтобы лечить вас, исцелять вас – от вас же, от вашей внутренней болезни! – я прервал себя и, вскочив, стал расхаживать по номеру – от стены к стене. – Господи! Видимо, не то я говорю, не то!.. И не так, как надо бы: не могу я точнее выразить свои переживания!

– Саша! – вдруг заговорила Вера Сергеевна уже гораздо более спокойным голосом. – Я вполне поняла всю искренность вашу и готовность помочь. В том, что вы говорите, есть доля правды. Однако я вижу также, что вы молоды и мыслите несколько абстрактно, пытаюсь решить чужие проблемы и жизненные конкретные ситуации через какие-то надуманные схемы и общие разговоры об «изменении себя»...

– Вот, вот именно об этом как раз дядя Саша и говорит, – перебила мать Света. – Именно на это он, мама, тебе и указывает – на гордость

нашу «фамильную», ведь и во мне она есть! И в твоих словах сейчас очень четко она слышна!.. Какая-то внутренняя жесткость, что ли, наша – жесткость ко всему: к миру ко всему, понимаешь мама?

Я кивнул, с радостью и удивлением осознав, что Света уловила как раз то, что ускользало и от матери, и от меня.

– Ах, возможно, возможно, вы все правы! – с некоторым раздражением и опять со слезами в голосе произнесла Долинина. – Но ведь все эти наши разговоры не изменят ситуацию, не переделают Игоря, моего второго мужа?

– Расскажите немного и о нем: ведь именно из-за отношений с ним вы очутились здесь, на вокзале?

Вера Сергеевна невольно кинула взгляд на круглые часы, висевшие на стене: было уже около восьми вечера.

– Я займу у вас еще не более получаса, – поспешил успокоить ее я.

– Ах, нет! – она чуть порозовела в лице, что очень шло ей. – Я о поезде только беспокоюсь!.. Да, теперь об Игоре. Это, конечно, совсем другой человек. Сергей, на мой взгляд, был просто психически не здоров, – как бы мы здесь с вами его не оценивали. А Игорь – так тот просто... пьяница. Только и всего. Я приехала из Саратова через пять лет после своего побега от Сергея. Случайно узнала, что первый муж скончался и решила вернуться. До этого я приезжала к матери всего два или три раза – настолько я боялась возможности повстречаться с этим... человеком.

Игорь работал шофером в той сети магазинов, в которую я устроилась бухгалтером. Встречались мы долго – почти два года. Я все пыталась «проверить» его, понять, что он за человек, да и хотела, чтобы Светик к нему привыкла. Проверяла-проверяла да вот видите – опять наткнулась на те же грабли. Не то чтобы он был плохим – ревнивцем или что-то подобное. Нет, – обычный мужик, честный, работающий, очень надежный в бытовом плане. Правда, порой скучный, очень молчаливый... Да меня он и такой устраивал: достаточно было болтовни на работе. В итоге мы с ним расписались, я перебралась с дочкой в его двухкомнатную (он сам был разведенный; от первого брака детей у него не было; о предыдущей своей жене рассказывать мне не любил).

Испортила его, собственно говоря, эта самая рыбалка с друзьями по выходным. Именно с нее он начал пить запойно. Я убеждала его, уговаривала, плакала, умоляла, – всё бесполезно. Затем запои стали затягиваться на несколько дней, даже недель. С работы его, конечно, через некоторое время попросили, хотя я сделала всё, чтобы этого не случилось. Ну, а потом он принялся банально драться. Ну, слава Богу не так, как мой первый, – не так зло и неожиданно, но зато как-то по-дикому: с ножом

кидался; Свете тоже не раз доставалось.

Полгода назад мы решили разъехаться. Я с дочерью жила сначала у моей старенькой матери, затем стала снимать квартиру неподалеку от ее дома. Он после того, как мы ушли, немного поутих, ну, а затем стал являться на работу, просить денег, встречать дочь из школы. Я ему понемногу давала, но вместо благодарности он, быстро привыкнув к подачкам, – начал угрожать и требовать. Я обращалась в милицию, но они, есть пользоваться их жаргоном, задерживать его «без состава преступления» не могут. Ну, лежит у них мое заявление, а что толку – ведь он с ножом все время ходит! Ему нужны только деньги на водку – больше ни о чем и думать не может! Он и стекла мне бил в той квартире, которую я снимаю. Это он, он – кто же еще мог это сделать?!

Вот я и не выдержала и по совету матери решила на некоторое время уехать к родственнице в Саратов; затем, конечно, хочу вернуться – сменю при этом и место жительства, и дочь переведу в другую школу, хоть ей это и тяжело будет – ведь заканчивает она в следующем году. А Саратов – как говорится, испытанное уже средство, – она слабо улыбнулась. – Вот и вся история. Банально всё, конечно. Не знаю уж, гордость ли моя здесь виновата или еще что-то... По-моему, – так просто на мужиков нормальных не везет, повывелись, что ли, они все...

– Они потому к вам такие и притягиваются, как к магниту, и даже изменяются в соответствии с вами, с вашим внутренним устройством. Я уже говорил вам... – я тоже улыбнулся, помолчал, а затем решительно произнес: – Действительно, пора завершать нашу беседу. Я обещал Серому еще часа три назад прогуляться. Вы же можете за оставшееся время подготовиться к поезду. За оплату номера не беспокойтесь – я все улажу. А к самому вашему отъезду приду вас проводить на перрон. Идет?

– Идёт! – опять за мать ответила дочь. Я привстал и позвал пса. Тот радостно зашевелился, даже заскулил, предчувствуя свободу.

– Да. Я всё-таки... – заметно было, что Долинина волновалась. – Я всё-таки очень благодарна вам за ваш «эксперимент». Уверена, что наша беседа поможет мне разобраться... в самой себе разобраться...

– Я думаю, что наша встреча поможет и мне – также понять, в чем суть моих проблем. Спасибо вам!

Через пару минут я выбежал с совершенно счастливым Серым на улицу. Холодный, почти морозный воздух поздней осени освежил меня, привел разбросанные мысли и чувства в порядок. Я поднял глаза к темному небу и увидел, как на низко плывущих ночных облаках отражается розовый свет вокзала... Спустя некоторое время я принялся искать куда-то пропавшего пса. Однако, потратив минут пятнадцать,

понял, что это бесполезно.

– Неужели я надеялся, что собака, прожившая всю жизнь в бродяжничестве, так быстро свыкнется с неволей? Пусть и с сытной едой, и с вафельным белым полотенцем?.. А может, я и впрямь всё это выдумал – и «связь» эту с Серым, и свое «расширение»... Да и женщине этой бедной столько чепухи наговорил, – просто несусветной! Что я знаю о ее жизни? Какая внутренняя «гордость», о чем я?.. – я вернулся к себе в номер в прескверном настроении. Часы показывали десятый час вечера.

– Через тридцать минут их поезд уедет. А с чем останусь я? Со своей обостренной чувствительностью, которая, как на грех, когда переживается мною, – реальнее самой реальности. А когда нет ее – я вновь и вновь сомневаюсь в этих своих «способностях», в том, что всё это серьезно и имеет потрясающее для меня значение.

А что же для себя-то я «открыл» и вынес из всего нашего общения? Что же – я стал меньшим эгоистом? Чему я научился и с чем вернусь к Лене и Владуку?.. Боже! – я словно проснулся. – Ведь от меня ни слуху ни духу не было уже около двух суток! Лена, наверное, с ума сходит и обзвонила всех, кого только возможно! – я рванулся, было, к сотовому, чтобы вставить прежнюю симку и позвонить жене. Но остановил себя.

– Вот провожу Долининых – а там и позвоню. Там и – вернусь, – решил я. Спустившись вниз, я сообщил, что мы освобождаем оба номера – и мой, и долининский; потом расплатился за дополнительные услуги. На часах было уже 21-25.

Я поспешил к вокзалу, по пути оглядываясь по сторонам в надежде обнаружить Серого. Но собаки нигде не было видно. Узнав, на каком перроне стоит поезд на Саратов, я почти бегом преодолел подземный переход.

– Я ведь не знаю номера их вагона! – промелькнуло у меня в голове. Я быстро начал перемещаться вдоль поезда, стараясь заглядывать в окна. Они, конечно, уже в вагоне, но, может быть, также смотрят в окно и ждут меня...

Вдруг тело охватил знакомый озноб, сигнализирующий об очередном «приступе» способностей, но я уже не опасался этого.

Возникло четкое ощущение, что вся ситуация с поиском нужного вагона мне очень знакома. Ну, конечно же! Сон! Я напряг память в тщетном усилии вспомнить, как выглядел тот вагон, который я увидел во сне, провожая моих новых знакомых...

– Дядь Саш! – раздался голосок Светы совсем рядом. Чрезвычайно обрадованный, я увидел стоящую на ступеньках белокурую девушку, а в глубине вагона успел заметить черное пальто Веры Сергеевны.

– Как же хорошо! Как же хорошо, что я вас нашел! – почти прокричал я в каком-то восторге. – А Серый, представляете, куда-то делся! Он ведь вокзальный пес. Вот и исчез...

– Ничего, найдете! – приободрила меня Света, и глаза ее тоже блестели от радости, хотя лицо было немного бледным и снова усталым.

– Знаете, – сказал я, надеясь, что Вера Сергеевна, стоявшая к нам вполоборота, тоже слышит меня, – я так рад, что мы с вами познакомились! Это всё совсем-совсем не случайно. Вы верите в это?

– Оставьте нам свой номер! – не ответив на мой вопрос, проговорила девушка. Я быстро продиктовал ей свой сотовый. Вышла проводница – уже пожилая женщина в стандартном темно-синем пиджачке. Она потеснила Долининых назад и стала запирать дверь вагона.

– Да постойте же! – вдруг прозвенел голос Веры Сергеевны. Она высунула в щель закрывающейся двери голову и прокричала:

– Саша, вы правы! Я всё обдумала и, наверное, что-то поняла для себя. Я обязательно, обязательно позвоню вам – тогда, когда буду к этому готова!

Проводница недовольно пробурчала что-то и захлопнула дверь. В репродукторе снова послышалось объявление об отправлении поезда на Саратов. Вагоны через минуту дернулись и поплыли в освещенной электричеством темноте. Я побрел к камерам хранения за чемоданом...

Той ночью, слыша, как ворочается во сне рядом со мной Лена, я снова поднимался над вокзалом на черных, слегка влажных крыльях какой-то птицы. Серый уже не выл так тоскливо, откликаясь на стук проезжающих товарняков, а лежал под одной из вокзальных лавок, беспокойно перебирая лапами во сне. Вместе с обычной и воспитанной десятилетиями печалью старого вокзала мне чудилось и нечто новое, – что-то умиротворяющее и теплое, родное. Какое-то спокойствие и тихая радость спустились в ту ночь мне в душу. Именно к ним я обращался затем в трудных ситуациях. Искал опору и – находил.



# Трава

Дверь захлопнулась. Федор быстро спустился вниз по истертым ступеням, толкнул дверь подъезда, – она распахнулась и выбросила его на улицу.

Мороз, сначала оторопев от такой наглости (Федор был полураздет – без шапки и без пальто), тихо подкрался к нему и начал слегка пощипывать щеки и руки этого явно не по сезону одетого мужчины.

Тускло светивший фонарь с азартом выхватывал из темноты одну за другой скользившие мимо него снежинки, однако по-настоящему завладеть хотя бы одной ему так и не удавалось, что, впрочем, совсем не мешало этому желтому кавалеру продолжать свой бесконечный флирт.

До аэропорта было далеко, но Федора это не тревожило: его теперь вообще мало что волновало.

Он хотел услышать, растет ли трава ночью.

Сегодня дежурила Алла, – кассу она в любое время могла оставить минут на пятнадцать («тех. перерыв»). Этого им всегда было достаточно; зато потом он мог спокойно спать до утра, уверенный в том, что ближе к девяти его будет ждать чашка горячего кофе и бутерброд с колбасой.

Алла – прелесть, только всегда почему-то хочет сверху, – его это не особенно беспокоило, но ведь всему есть разумные пределы...

А в остальном – прелесть.

Когда глубоко вечером одна из линий аэродрома дрожала в предчувствии очередного взлета, трава судорожно пыталась вытянуться повыше: она так любила эти светящиеся неуклюжие громадины.

Где-то внутри ее клеток отдыхала душа мальчика.

Трава была когда-то мальчиком.

Когда самолет пролетал высоко в небе, мальчик любил (особенно в ясную погоду) следить за ним до «самого-самого», пока сплошное облачное одеяло или какое-то препятствие не скрывали металлическое чудо от зорких глаз маленького наблюдателя.

«Только в молчании познаешь слово...»

Мальчик был нем. Это ему не мешало, но почему-то очень печалило родителей, которые, когда ему исполнилось четыре года, отдали его в школу-интернат для глухонемых детей, а потом и вовсе исчезли.

Он не забыл их.

---

*Впервые опубликовано: Отражения. Сб-к творчества молодых литераторов Ульяновской области. Ульяновск, 2006. С. 19-23.*

Федор забыл купить презервативы, но совершенно не мучился по этому поводу, – у Аллы всегда, если постараться, можно было найти пару-тройку...

Одетый не по сезону мужчина прекрасно знал, что он не единственный, кого греет Алла под своим теплым одеялом, однако ему еще ни разу не приходилось заставить в ее комнатухе даже запаха другого представителя мужского пола.

Алла встретила его с платком, в который сморкалась ежеминутно. Федор этому не удивился, поскольку Алла всегда чем-нибудь болела.

Трава не растет зимой. А была зима. Мальчик не умел говорить, а родители так хотели услышать его первые «мама» и «папа».

Федор не любил вспоминать о женах. С первой у него даже детей не получилось; от второй, Наташи, родились дочь и сын. Дочери сейчас, по всем подсчетам Федора, было уже около девяти, сын же родился немым, – и они отказались от него.

Иногда траве было больно, – особенно когда она чуть-чуть выше, чем требовалось, вытягивала головку, чтобы посмотреть на садящийся или взлетающий самолет, – и за это ее безжалостно подрезали газонокосилками.

Но трава никогда не жаловалась: она была нема, и ее крохотное сердце немного боялось шума режущих зелень машин.

Она лежала у него на плече, что-то говорила, жаловалась кому-то, – он не знал, кому, так как он-то ее точно не слушал.

Он думал о том, как бы поскорее выпутаться из этой истории: денег ни гроша, из квартиры его буквально выкинули, Алле уже после десяти утра он здесь ни к селу ни к городу: как-никак у нее были и собственный муж и дети...

«А у кого их нет?» – беззлобно усмехнулся Федор и повернулся к ней спиной, тем более что она давно перестала нести эту околесицу про траву, которая мягко поддерживала снег вокруг аэродрома нежными пальчиками ребенка, и Федор почувствовал – всего лишь на мгновение перед тем, как провалиться в бездонную пропасть сна – как кто-то попросил его спеть колыбельную, – попросил не словами, а шелестом маленьких ручек. И он запел – вечность говорила в его песне, его песне о том...

«Песня о том, как трудно в наше время научиться любить...» – загремел радиоприемник прямо над ухом Федора.

Аллы не было: даже постель остыла, и след ее тела исчез. Федор с трудом опустил ослабевшие за ночь ноги на ледяной пол и начал

натягивать брюки. Маленькие и грязные электронные часы показывали без десяти девять. В это время Алла обычно приносила кофе.

Так было и на этот раз: Алла вошла с позолоченным кофейником в руках, похожим на потрясающий восход летнего солнца – и на фоне порозовевшего неба мальчик смотрел на скользящий вниз самолет; он чувствовал, как восторг холодком пробежал по спине и нежно щекотал его шею.

Самолеты напоминали мальчику отца: он всегда представлял его таким же могучим и прекрасным. Окна кабины пилотов светились для него, словно глаза матери.

Сначала мальчик не мог узнать отца, который иногда приходил на аэродром и исчезал в главном здании на целую ночь. Но затем он его вспомнил...

И трава мягко колыбалась под снегом, ожидая своего времени...

Федор едва дотянул до весны, а ближе к лету Алла неожиданно нашла ему работу на аэродроме, – он отвечал за определенный сектор на четвертой линии.

Снег исчез, и мальчик снова потянул головку навстречу солнцу, любуясь взлетающими и садящимися голубовато-белыми металлическими чайками.

Трава в этом году была особенно густа и шелестела по ночам так громко, что это замечали даже те, кто никогда не стремился услышать, как растет трава ночью.

Был конец июня. Федор направлялся с четвертой на шестую линию, стараясь идти поскорее, потому что вот-вот должен был сесть самолет 624 рейса, а одна из световых полос барахлила.

Федор должен был проверить, нет ли каких-то внешних факторов, мешающих нормальной работе светополос.

Между четвертой и шестой трава особенно разрослась. Казалось, что асфальт совершенно не мешает зеленому ковру; уборщики жаловались на этот участок, говоря, что ни одна газонокосилка не может ничего здесь сделать: трава словно заново вырастала ночью на прежнюю высоту.

Федор шел быстро, но понимал, что не успевает. Он решил немного срезать и пошел по земле, – так было короче.

Ночь надрывалась звуками насекомых, словно вокруг было не стеклянно-каменное творение рук человеческих, а нетронутая природа, таящая в своей глубине вечно ускользающую, как изумрудная лента ящерицы, загадку жизни.

Потом он споткнулся, упал – и каждая травинка, будто маленькая ручка, устремилась ему навстречу, приняла, поддержала, тихо опустила

на землю и прижала к себе.

Как давно мальчик ждал этого: он зарывался в волосы отца, весело и нежно смеялся, шептал что-то на своем непонятном, немом языке, щекотал ему уши, ноздри, губы и обнимал его со всей детской страстностью и непосредственностью...

Он нашептывал ему свои мечты, говорил о маме и самолетах, и ночь брала свое, медленно опуская серое покрывало на спину Федора...

Нашли его на следующий день ближе к полудню, хотя искали с самого утра: сторожа никак не могли заметить в короткой, но густой траве распластавшееся, словно вдавленное нечеловеческой силой в землю тело мужчины.

Иногда по аэродрому пробегал ветер, и тогда верхние кончики травинок легко касались спины Федора и шуршали о его рубашку, напевая что-то похожее на колыбельную. Мальчик пел, и вечность говорила в его песне. Он пел о том...



# Отходная трамваю

Не замечали, как меняется мир, когда едешь на трамвае в сторону Центра? Нет? Боже мой, какое невнимание к сути жизни!

Да вот послушайте: вот, согбенный прожитой ночью, с утра разлепляешь глаза, – весь какой-то неживой, невзрачный, едва двигаешь во рту зубной щеткой, потом вяло напяливаешь на себя нечто серо-черное, издали похожее на одежду. Затем – бредешь к трамвайной остановке.

И нет в тебе радости жизни и духовной светлости.

Стуча колесами о рельсы, подъезжает трамвай твоего, нужного тебе, только тебе номера. Волоча ноги, начинаешь влезать в вагон. Вот, взбрыкнув, поднялась левая нога, затем – вслед за ней – правая. Залез, забился куда-то в гущу вагонного населения. Дышишь тяжело, как солдат во время боевого затишья.

Но – трамвай трогается, набирает ход – и начинаешь чувствовать, как постепенно прибавляется силы, словно у Илюшеньки Муромца, пьющего воду калик перехожих.

Как будто электрический ток, запускающий вагонное сердце, пробегает и по твоему телу.

Одна остановка, вторая... Вот и набережная Свяги. Видишь розовеющее небо – всё в предчувствии восхода – и славишь наступающий день. Наблюдаешь. Вот мамаша с ребенком. Села. Явно думает о вечном и непреходящем. А ребенок – о чупа-чупсе и яблочном соке.

Вот парень в вязаной шапке, похожий на клоуна: он одевает ее так, чтобы сверху обязательно образовывался некий хохол, – как какой-то лешак или бес на старинных иконах.

Вот ветеран поднялся в вагон. Молодец. Флотское что-то в крови. В голове его крутится про какого-то Константина и про грузчиков в порту.

Затем – девушка в черных колготках и с увеличенными ресницами. И то и другое – совсем не подходят ей. Но порозовевшее небо заставляет сразу влюбиться...

И я сразу как-то люблю это и вдохновляюсь этим, и плачу над этим. Вот порозовевшие куполочки церкви на ул. 12-го сентября. Рядом – какой-то кран, видно, строят чего-то, стараются. А зачем? И так – красиво. И глубоко.

---

*Публикуется впервые.*

Совсем недавно, едва переставляя ноги и в глубине души кляня действительность, я был мертв ко всему этому. А сейчас, проехав каких-то пять-шесть остановок, – ожил...

Люблю трамваи. Жить от них хочется.

Маршрутки – не то: там, где у них написано: «Место для удара головой», - это для меня и про меня написано. После поездки на маршрутках всегда остается ощущение горечи во рту, как от работающей газовой плитки, которую забыли зажечь. В них не увидишь широкого розовеющего неба. И в девушку, которая вся в колготках и в ресницах, влюбиться сложнее. А в трамвае – всё просто и всё возможно.

Ну, доехал, слава Богу. Моя. Слезая.



# СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i> .....	3
<i>Неприкаянный</i> .....	4
<i>Жонглер</i> .....	14
<i>Эксперимент</i> .....	41
<i>Визуальная антропология</i> .....	52
<i>Обыкновенная история</i> .....	68
<i>Весна</i> .....	76
<i>Как если бы</i> .....	79
<i>Трава</i> .....	113
<i>Отходная трамваю</i> .....	117

Литературно-художественное издание

САФРОНОВ  
Евгений Валериевич

ЖОНГЛЕР И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

В авторской редакции

*Рисунки:* Петр Аверьянов, Татьяна Половова, Ольга Сафронова

Иллюстрация к рассказу «Как если бы...» с благодарностью взята  
отсюда: <http://fotosobaki.narod.ru/images/ris/3059fotosobaki.narod.ru.jpg>

Подписано в печать  
Формат 84x108/32. Бумага офсетная.  
Гарнитура «Times New Roman». Усл.печ.л. 5,5.  
Заказ №  
Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии Облучинского.  
432044, г. Ульяновск, ул. Гончарова 11а.